



Денис
Драгунский

Автопортрет
неизвестного

Как отличить автора от героя,
любовь от ненависти,
а мечту от вранья?
И не пытайтесь.

Денис Викторович Драгунский

Автопортрет неизвестного

Серия «Проза Дениса Драгунского»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38267466

Автопортрет неизвестного : роман / Денис Драгунский: АСТ; Москва;

2018

ISBN 978-5-17-107932-1

Аннотация

Денис Драгунский – прозаик, журналист, известный блогер. Автор романов «Архитектор и монах», «Дело принципа» и множества коротких рассказов.

«Автопортрет неизвестного» – новый роман Дениса Драгунского. Когда-то в огромной квартире сталинского дома жил академик, потом художник, потом министр, потом его сын – ученый, начальник секретной лаборатории. Теперь эту квартиру купил крупный финансист. Его молодая жена, женщина с амбициями, решила написать роман обо всех этих людях. В сплетении судеб и событий разворачиваются таинственные истории о творчестве и шпионаже, об изменах и незаконных детях, об исчезновениях и возвращениях, и о силе художественного вымысла, который иногда побеждает реальность.

Содержание

Действующие лица	4
Пролог. Риттер	7
Часть первая. Вечер памяти	48
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Денис Драгунский

Автопортрет неизвестного

Und dies Büchlein ist die Urne

Mit der Asche meiner Liebe.

Heine!

Действующие лица

Главные:

Виктор Яковлевич Риттер, старый писатель.

Игнат Щеглов, его ученик, молодой писатель.

Борис Аркадьевич Бубнов, очень богатый человек.

Юля Бубнова, его жена.

Сергей Васильевич Перегудов, министр специального приборостроения.

Римма Александровна, его жена.

Алексей Сергеевич Перегудов, их сын, начальник Лаборатории № 8.

Лиза, его жена.

Лена Сотникова, его подруга.

Генриетта Михайловна Карасевич, профессор.

Оля, ее дочь.

Петр Никитич Алабин, известный живописец.

Алексей Иванович Бычков, проходчик Метростроя, Герой труда.

Аня, жена сначала Бычкова, потом Алабина.

Вася, сын Алексея и Ани Бычковых, пасынок Алабина.

Марина Капустина, бывшая любовница Алабина.

Таня Капустина, ее падчерица.

Николай Евлампиевич Колдунов, искусствовед и критик.

В эпизодах:

Иосиф Виссарионович Сталин, председатель Совета Министров СССР.

Павел Павлович Челобанов, знаменитый художник.

Тоня, дочь Сергея Васильевича Перегудова от первого брака.

Миша Татарников, сосед и друг юности Алексея Перегудова.

Николай Петрович Хлудов, генерал КГБ.

Любовь Семеновна, подруга и компаньонка Риммы Александровны.

Наташенька, жертва обстоятельств.

Не действуют, но постоянно упоминаются:

Ярослав Диомидович Смоляк, начальник Управления специальных разработок.

Саул Маркович Гиткин, учитель рисования.

Леонид Васильевич Бажанов, авиаконструктор.

Антон Вадимович Капустин, зам. главного архитектора
Москвы.

Пролог. Риттер

Юля Бубнова решила написать роман.

Но Виктор Яковлевич Риттер забыл слово «навигатор».

Это случилось на вернисаже в одной из московских не слишком знаменитых галерей. Была выставка из длинной серии КБХ, то есть «Клуб бывших художников», затея дочери адвоката Туманова, старого приятеля Риттера, вот поэтому Риттер туда и пошел, хотя на самом деле ему было не так уж интересно. Но надо поддержать хорошую девочку. Девочку сорока с лишним лет, извините. Девочку и ее папу, который над каждым дочкиным проектом держал ладони домиком. Возможно, поэтому успехи ее были столь скромны, – подумал Риттер. Но тут же прикусил свой мысленный язык и стал думать в более благожелательном направлении. О том, что вообще проект очень милый и отчасти возвышенный в смысле справедливости. Рассказать о художниках, которые когда-то были известны – хоть официально, хоть наоборот, в маленьких кружках ценителей, – но потом были забыты напроочь.

В этот раз выставляли этюды и иллюстрации громоподобного соцреалиста Петра Алабина; архитектурные наброски Антона Капустина, в 1930-е годы заместителя главного архитектора Москвы; эскизы театральных костюмов Леонтины

Карасевич, в которой только и толку, что она была ассистенткой Бакста в студии Званцевой, то есть в каком-то смысле учительницей Шагала; две картинки и четыре «правки» (то есть исправленные ученические работы) художника-педагога Саула Гиткина. Особым открытием могли стать рисунки критика и искусствоведа Николая Колдунова, который, как оказалось, кроме написания гнусных погромных статей рисовал еще очаровательные натюрморты цветными карандашами. В духе позднего Митрохина, но раньше, чем это делал Митрохин, что особенно удивительно.

Но в целом – ничего выдающегося.

Риттер стоял в полутемном зале – как всегда, галерея располагалась в просторном холодном помещении с кирпичными стенами, крашенными черной масляной краской, – а картины (вернее, картинки, картиночки) были освещены узкими лампами в стальных кожухах. Риттер пришел без жены, и разговаривать было не с кем. Он поцеловал и похвалил организаторницу выставки Ирочку Туманову и, отойдя в сторону от всех групп и парочек, беседовал с Сашей Тумановым, ее папой. Так, ни о чем, о погоде и о такси (пора была уже ехать домой). Риттер говорил, что в прежние годы таксисты были знатоками города. Всех его улочек, переулков и проходных дворов. Риттер даже рассказал, что один его сосед – давно дело было, они тогда еще с родителями жили в коммуналке, – и вот соседский сын пришел из армии с водительскими правами и подался в таксисты. Так вот, рассказы-

вал Риттер, он все Садовое пешком прошел, все развороты и перекрестки запомнил, и центр тоже, ножками, ножками, и только потом за руль сел. Туманов кивал, соглашался, что-то говорил о настоящих рабочих, слесарях шестого разряда, об официантах-стариках, которых теперь тоже не осталось, и, конечно, о старых таксистах, которые знали Москву лучше любого сыщика.

– А теперь они все ездят с этими... – Риттер запнулся. – Ну, как их... Путеуказчиками... Следопытами, что ли...

Туманов вежливо молчал. Наверное, полагал, что подсказывать бестактно, или же думал о чем-то своем.

– Ну, такая как будто живая карта, на планшете, со стрелкой, около руля прикреплена, показывает дорогу, – говорил Риттер, мучаясь от невозможности вспомнить простое, всем известное слово.

Казалось, что по всей голове бегают какой-то шарик, маленький, как маковое зернышко, но тяжелый, металлический, блестящий. Как шарик в казино? Нет, как шарик в редкостной детской игре, она была у него когда-то: размером в нынешний смартфон, но потолще. Зеленый суконный прямоугольник, накрытый сверху стеклом, и там несколько лунок с цифрами, и катается шарик, и надо, покачивая игрушку, загонять шарик в лунки. А еще там проволочные рамки, которые помогают шарiku попасть в лунку с цифрой 5, но мешают попасть в лунку с цифрой 100. Риттер вспомнил, как он бесился, тряс этот микробильярд и в конце концов раз-

бил его. Не с досады, а случайно. Уронил на пол и разбил. Быстро, чтоб мама не заметила, мокрой газетой собрал с полу осколки стекла и выбросил сломанную игрушку в мусорное ведро. А шарик закатился куда-то под шкаф.

Но вот теперь он выкатился, и носился внутри головы Риттера, и никак не мог попасть в нужную лунку. Холодный пот выступил у него на лбу, и стало тесно в груди – от страха, что наступает старческое слабоумие, вот и первый сигнал. И тут вспомнил: «Навигатор!»

– По навигатору ездят! – громко сказал он Саше Туманову, который внимательно на него смотрел. – Только по навигатору!

– Да, да. Ты вообще как себя чувствуешь?

– А что?

– Красный стал как свекла. Давление?

– Не знаю. Черт знает. Я домой пойду, пожалуй.

– А фуршет?

– Спасибо, дорогой. – Риттер покачал головой.

– Ира! – крикнул Саша Туманов дочери. – Писателя надо доставить домой!

– А фуршет? – тоже спросила подбежавшая Ирочка. – Виски у нас сегодня – класс, вы же любите виски!

– Боюсь, – сказал Риттер. – Что-то как-то я... Еще раз тебя поздравляю. Роскошный проект на самом-то деле. А кое-что продать можно. Гиткина точно можно. А Колдунова надо еще раскрутить.

– Наверное. Я вам вызову «Убер»?

– Спасибо, Ира дорогая. Возьми денег. У тебя же к карте привязан?

– Что вы, что вы... – Она стала отпихивать пятисотрублевую бумажку.

– Тогда пойду пешком, и ты будешь виновата!

– Хорошо, хорошо.

Они с Ирочкой еще раз обнялись и поцеловались под пристальным и отчасти тревожным взглядом ее папаши. Разумеется, он тревожился не за здоровье старого приятеля. Он тревожился за дочь свою, у которой была манера заводить романы с папиными друзьями, из-за чего все время откладывалось ее замужество, семья, дети и прочие патриархальные радости, о которых так тосковали Саша Туманов и его жена Соня, Ирочкина мама. Им хотелось внуков, а Ирочке хотелось...

«Чего ты хочешь, деточка?» – спросил ее однажды Риттер. Она приехала к нему домой, привезла папину рукопись: адвокат Туманов написал документальную повесть из юридической жизни и просил друга Риттера посмотреть и дать свою честную профессиональную оценку. Жены дома не было, жена была в Германии у сына – сын Митька там сначала учился, а потом женился на немке. Ирочка вдруг распустила волосы и стала долго причесываться, глядя на свое отражение в книжном шкафу, а потом застыла и стояла так минуты полторы, а потом повернулась и туманно посмотрела на

него в упор. «Чего ты хочешь, деточка?» – «Просто жить!» – громко и отчаянно засмеялась она, раскинула руки и повторила: «Жить, дядя Витя! Вы понимаете?» Риттер покивал, улыбнулся в ответ, но вот и всё.

Туманов строго глянул на руку Риттера, в ходе прощального объятия легшую на Ирочкину талию. Так строго и сурово, что Риттер почти почувствовал ожог. Как будто лазером! Он медленно поднял руку по Ирочкиной спине, до ее затылка, потрепал ее по голове и успокоительно поглядел на Сашу.

Потому что в данном случае он был совершенно чист и непорочен и недостойных помыслов в сердце своем не лелеял.

Ирочка посадила его в такси и еще раз чмокнула в щеку.

По дороге домой Риттер читал в уме стихи наизусть, вспоминал имена книжных героев, точные химические названия лекарств, телефоны друзей. Успокоился. Но вдруг забыл, как фамилия художника, которого он только что советовал раскрутить... Снова перепугался. При маразме хорошо помнят старое и тут же забывают новое. Но при каком-то другом его типе – наоборот. Черт. Колдунов фамилия этого художника.

Дома он пожаловался жене на внезапные проблемы с памятью. Она его успокоила своим спокойствием. Ха! Он прямо этими словами подумал. Вот такой стилистический огрех. Как у Льва Толстого: «Своим чутьем она чувствовала».

Но перед сном он открыл книжный шкаф и провел пальцем по стопке дареных и неиспользованных ежедневников. Нашел один небольшой, недатированный, в приятной на ощупь, как будто замшевой, желтой обложке. Хороший цвет, подходящий. Желтая книга – как желтый дом.

Сел к столу и записал на первой странице:

14 сентября 2016 года. Забыл слово «навигатор».

Юля Бубнова решила написать роман, но не просто роман – «много ума не надо, чтоб написать просто роман: зайдешь в книжный, голова кругом, одни романы кругом; и вообще – заведи себе роман и опиши его в романе!» Она любила вот так выражаться, играя словами: «не надо устраивать сцен, ты не на сцене!», «песенка этого певца уже спета», ну и в этом роде. Не просто роман – так сказала она своему мужу, – она решила написать интересный, умный, увлекательный – одним словом, во всех отношениях замечательный роман, который читатели будут рвать друг у друга из рук! Вот так! – вот так сказала она своему мужу.

– То есть ты хочешь написать бестселлер? – ответил ее муж, Борис Аркадьевич Бубнов.

– Если тебе так больше нравится.

– Мне? – он засмеялся. – Мне все равно. Твоя идея. Пиши что хочешь. Лучше, кстати, для начала напиши что-нибудь заумное. Авангард или, как это, постмодерн. Придумай что-то этакое. Как говорится, *не для всех*, – и он покрутил паль-

цами над тарелкой, изобразил в воздухе узоры; разговор шел за обедом. – Это проще.

– Ну да, – кивнула Юля. – А потом издать за свой счет?

– Ну да, – сказал Борис Аркадьевич. – В красивом переплете.

– Нет, – сказала Юля. – Не хочу проще. Заумный роман *не для всех* каждый дурак может. Сиди себе и заумничай. А я хочу именно что бестселлер.

– Ну и? – спросил Борис Аркадьевич.

– Это я тебя спрашиваю: ну и?

– Я тебя не понимаю. – Он слегка пожал плечами и отправил в рот половинку оладушки из протертых кабачков, предварительно макнув ее в греческий йогурт.

Хотя на самом деле он все прекрасно понял.

Понял, что у Юли какая-то новая затея, и дай бог, чтобы не слишком дорогая. Борис Аркадьевич был весьма богат (хотя далеко не олигарх и даже не полумиллиардер), но при этом не то чтобы скуповат, но скорее бережлив. Чуть-чуть прижимист. Он верил, что так и надо себя вести богатому человеку. Борис Аркадьевич с удовольствием рассказывал анекдот про одного знаменитого советского поэта, невероятного по тогдашним меркам богача, который в ресторане за общим ужином заказал себе сто граммов водки и винегрет. Его спросили: «Почему так скромно? Ведь вы такой богатый!» – а он ответил скрипучим голосом: «Вот потому и богатый!...»

Он понял, что придется чуточку раскошелиться, и, главное, непонятно на что.

Юля поняла, что он всё понял, и замолчала.

Стало тихо. У Бориса Аркадьевича зазвенело в ушах и заломило затылок.

Юля умела молчать так, что хотелось сделать что угодно, чтобы это молчание прекратить. Заорать, разбить тарелку, вскочить из-за стола и опрокинуть стул. Или молить бога, чтоб зазвонил телефон.

Юля знала за собой это свойство. Вернее, это умение. Она научилась вот так молчать у тети Оли, а тетя Оля – у своей мамы. «Мама, – рассказывала Юле тетя Оля, – мама умела молчать так, что стены дрожали». Один раз от ее молчания старая оконная рама треснула и вылетело стекло, а на дворе зима. «В ту зиму зима была очень холодная и снежная. С ветром. Как раз метель. А стекольщика не дозовешься, не наше время, застой в разгаре, середина семидесятых. Снег налетел в окно. А виновата все равно была я, потому что мама из-за меня молчала, то есть на меня сердилась».

Так что Юля молчала, глядя в угол комнаты – обедали они не в кухне и тем более не в современной дурацкой комнате, где гостиная соединена со столовой, а столовая – с кухней, а в нормальной традиционной столовой. Теперь это называется «столовая с подачей». То есть столовая, куда прислуга или хозяйка должна носить блюда из кухни.

Столовая была большая, с двумя окнами и тремя дверями.

Высокая двойная дверь с матовым рубчатým стеклом открывалась в немаленький квадратный холл, из которого вел – если выходить из столовой, то направо – коридор в просторную кухню. Точно напротив была входная дверь в квартиру. А налево из холла вела тоже двойная, но прозрачная стеклянная дверь в гостиную, которая была ненамного меньше столовой. Гостиная тоже соединялась со столовой, тоже двойной и тоже прозрачной стеклянной дверью – она была левее двери, ведущей в холл. Так что из столовой была видна гостиная, а через гостиную насквозь – парадный кабинет с дубовыми книжными полками, диваном и старым письменным столом. Еще одна дверь в столовой была напротив окон, одностворчатая и глухая, то есть без стекла, она вела в коридор, где были двери в небольшую спальню и еще одну совсем маленькую комнату, которая, очевидно, предназначалась для домработницы, но Бубновы ее использовали как гардеробную и кладовую.

То есть квартира была спланирована странно. Как нынче говорят, нефункционально. Три больших смежных комнаты и две маленьких изолированных. Кто и как тут должен был жить, где располагаться? Но знаменитый советский архитектор Гусев, построивший этот дом в тридцать втором году, мыслил как-то иначе, наверное. Ведь и еще более знаменитый архитектор Мельников сам для себя построил дом с общей спальней на всю семью – он с женой и двое детей, – но зато без платяных шкафов. То есть мыслил еще страннее. Что

ж поделаешь! Каждая эпоха мыслит по-своему, и не только книгами и картинами, не только лозунгами и вождями, но и кухнями, спальнями, гостиными. В общем, эпоха мыслит квартирами.

Но Бубновы, Борис Аркадьевич и Юля, не жили в этой квартире. Жили они, разумеется, в особняке под Москвой, а эту квартиру приобрели специально для приемов гостей, для встреч и переговоров. Хотя спальня тоже была, на всякий случай.

Юля обставила квартиру в стиле тридцатых, с небольшими вкраплениями антиквариата. Дубовая и ореховая светлая мебель, широкие кресла в почти белых холщовых чехлах («Ходоки у Ленина!» – смеялся Борис Аркадьевич, еще заставший старые советские учебники с картинками), но – столик с бронзовыми накладками в гостиной и огромный, всегда раздвинутый стол-сороконожка в столовой, покрытый тяжелой плюшевой скатертью, на которую Юля сверху набрасывала салфетки. И еще настенные часы с боем, доставшиеся от прежних хозяев: эту квартиру они купили года три назад.

Сейчас они сидели за этим грандиозным столом и обедали.

Вернее, уже не обедали. Юля молчала, а у Бориса Аркадьевича кусок в горло не шел. Он застыл с вилкой в руке.

Разжал пальцы и уронил вилку на тарелку. От тарелки отлетел маленький треугольный осколок. Борис Аркадьевич

громко сказал:

– К счастью.

Хотя это была очень дорогая тарелка. Поэтому он добавил:

– Если считать счастьем попорченный сервиз.

– А? – Юлия вздрогнула, словно проснувшись, и подняла брови. – А... Да, да. Ну, у нас все равно никогда не обедают двенадцать человек.

– Сколько тебе нужно денег? – спросил Борис Аркадьевич.

– Денег? – Она подняла брови еще выше. – Каких еще денег, на что?

– На роман.

– При чем тут деньги?

– Хм, – сказал Борис Аркадьевич. – Ни при чем, ты права. Пачка бумаги и новый картридж для принтера, справимся как-нибудь. Не разоримся, по миру не пойдем. Сама справишься. А? Справишься? Из своих денег?

Юлия еще помолчала минуты полторы, полуотвернувшись к окну.

– Или хочешь, я тебе куплю новый «Мак»? Самый-пресамый, – ласково и жалобно сказал Борис Аркадьевич.

Юлия молчала. Он следил за ее взглядом, и ему вдруг показалось, что занавеска сворачивается в трубу, как жухнувший осиновый лист или даже как прошлогодний лист, брошенный в костер, – желто-зеленый, он коричневеет, подсве-

чивается снизу и вот-вот вспыхнет.

– Ну? – почти крикнул Борис Аркадьевич.

– У меня и так самый-пресамый «Мак», – сказала Юля и продолжала молчать.

– Ну!!! – заорал Борис Аркадьевич.

– Мне нужен консультант, – сказала Юля. – Писатель. Хороший писатель, который к тому же опытный литературный педагог и отчасти редактор. Который мне поможет. Сможет помочь. Я примерно представляю себе, кто это может быть.

– Господи, всего-то, – выдохнул Борис Аркадьевич.

Занавеска распрямилась и приобрела прежний цвет.

– Позвони ему, пожалуйста, – сказала Юля. – И договорись. В том числе и о цене. Думаю, что это будет довольно дорого.

Борис Аркадьевич не стал напоминать, что три минуты назад на вопрос о деньгах она сказала: «Какие деньги, ты что». Но, разумеется, не стал ловить Юлю на противоречиях. Он только спросил:

– А кто это?

– Писатель Риттер. Виктор Риттер. Я же тебе говорила, много раз! Это мой любимый писатель, помнишь?

– Помню, – сказал Борис Аркадьевич с некоторым ехидством. – Читал, как же. Ну что же, у каждого писателя есть свои любители и даже фанаты. Это правильно.

– Да, – спокойно сказала Юля. – Я очень люблю писателя Риттера. Что тут такого?

– Да ничего! Все правильно. Может, ты ему сама позволишь?

– Нет, ты, – сказала Юля. – Мой звонок он может неправильно истолковать.

– Ого! – засмеялся Борис Аркадьевич.

Юля в самом деле очень любила писателя Риттера. Борис Аркадьевич был прав: у каждого писателя – ну почти у каждого – есть свои поклонники. Не только у звезд, лауреатов, любимцев глянца и королей телевизионных шоу. Но даже у таких не особо знаменитых писателей, как Риттер, обязательно есть свой «фэндом» – верные посетители презентаций и подписчики на фейсбуке, которые на любой его пост ставят лайки и сердечки и комментируют: «Гениально!», «В точку!», «Утащу к себе!».

Юле Бубновой нравился Риттер еще и своим обликом. Даже неизвестно, что ей больше нравилось – его сочинения или его портрет, который она увидела на задней стороне обложки и сразу же купила книгу. Риттер был худой, с треугольным лицом, с крупным сухим носом и втянутыми щеками. Седые недлинные, но разметанные волосы. Похож на английского философа Джона Локка. Точнее говоря, похож на Кейсобона из английского романа «Миддлмарч», который Юля прилежно читала со словарем, сама себя обучая английскому – устаревшему, но прекрасному. А уже Кейсобон был похож на портрет Джона Локка, так казалось юной Доротее Брук. Кейсобон был ученый священник, ему было под пятьдесят, а

Доротее – всего семнадцать, но она в него влюбилась, потому что он казался ей благородным и, главное, очень умным. У Доротеи и Кейсобона разница была в тридцать лет. А у нее с Риттером? Чутьочку больше, но ненамного. Смешно.

– Ничего он не истолкует, – сказал Борис Аркадьевич. – Не выдумывай!

– У меня нет его телефона. Достань. И сам позвони. Так будет правильнее.

Риттер сидел за столом и писал. То есть набирал на компьютере.

«Шмель, – написал Риттер.

Шмель подлетел ближе, присел на лиловый цветок, уцепился лапками за нижний лепесток, сложил крылья и нырнул головой внутрь чашечки, и стебель цветка согнулся под его тяжестью, едва не вытряхнув шмеля, но шмель тут же заработал своими короткими прозрачными крылышками, создавая воздушную тягу, не давая цветку совсем опуститься в траву, и цветок то сгибался, то разгибался в такт работе шмелиного пропеллера, и жужжание шмеля стало отчетливо слышимым, но вот шмель напился нектара и отлетел в сторону, цветок снова выпрямился, а звук шмеля потерялся среди дальнего птичьего щебета, треска кузнечиков, лопотания осиновых листьев, но через полминуты шмель прилетел снова, и снова его гудение заслонило все прочие звуки...»

– Тьфу! – закричал Риттер. – Гадость, бессмыслица, пустота!

Его жена подошла к закрытой двери со стороны коридора. Риттер услышал ее шаги.

– Это я сам с собою! – громко сказал он.

– Понятно, – сказала она и прошла мимо – то ли на кухню, то ли в спальню: у них была двухкомнатная квартира, и большая комната, где работал Риттер, называлась «кабинет-гостиная».

Риттер нажал клавишу *backspace* и стер весь этот дурацкий пассаж про шмеля. Дурацкий, потому что Тургенев и Бунин давно умерли, и хватит уже. Действие! Только действие! Или динамичный диалог!

Тут зазвонил телефон. Не мобильный, а городской. Риттер снял трубку. Приятный женский голос:

– Добрый день! Я могу поговорить с Виктором Яковлевичем?

– Слушаю вас. Это я.

– Вас беспокоит инвестиционная компания «Децептор». У вас есть несколько минут? С вами хочет поговорить президент господин Бубнов Борис Аркадьевич.

– Да? – удивился Риттер. – Интересно, по какому вопросу?

– По личному, по сугубо частному, – ласково сказала женщина. – Соединяю.

– Стоп! – крикнул Риттер. – Не надо!

– Простите?

– Если этот господин мне звонит по сугубо частному делу, то пусть звонит сам!

– Да, да, я сейчас вас соединю, – сказала женщина.

– Вы не поняли! Если он ко мне по личному делу, если я ему за каким-то хреном нужен, то не хвор сам пальчиками в телефон потыкать! А не через секретаршу! Всё!

Он бросил трубку. Сердце билось от злости. Встал и пошел на кухню. Стал капать себе валокордин.

– На кого ты там орал? – спросила жена. Она сидела в углу, на кухонном диванчике, и читала воспоминания Эммы Герштейн.

– Какой-то бизнес-хам.

– Не увлекайся валокордином, там барбитураты. Мозги посадишь.

– Уже посадил... Тоже мне, сокровище! Кому они нужны?

Накапал тридцать капель, развел водой, выпил. Крякнул, как от водки. Пощупал сам себе пульс. Подошел к жене. Нагнулся, взял ее руку, поцеловал. Сказал:

– Пожалей меня.

– Бе-е-е-едный! – протянула она, потрепав его по голове.

– Вишь ты, какой гордец! – сказал Борис Аркадьевич вечером, когда они с Юлей ужинали.

– А ты добейся, – сказала Юля. – Но только лаской. Мне нужно, чтоб он был добрый.

– Нет таких крепостей! – покивал Борис Аркадьевич.

Отказ Риттера ответить на звонок через секретаря насмешил его, но и раззадорил. Лаской так лаской. Назавтра он позвонил сам.

Договорились о встрече.

Риттер настоял на встрече у себя дома. Жене запретил делать уборку. Даже чуточку раскидать по шкафам, как она выражалась, тоже не велел. «Вот валяется плащ поперек подзеркальника, пусть его и валяется!» – «Но это же хозяйке упрек!» – «Нет, хозяину! – захохотал Риттер. – Что не заработал на служанку». Жена пожала плечами и спросила: «Мне прямо в домашнем халате выходить?» Риттер совсем взбеленился: «Вот, вот, вот! Мы уже полчаса *готовимся к визиту!*»

Повернулся, пошел в кухню, отрезал кусок хлеба, толсто намазал маслом и съел.

Ел и потихоньку успокаивался.

А чего это он, собственно говоря, забеспокоился? Какой-то недоолигарх просит о встрече. Наверное, речь пойдет о биографии этого господина. Или, еще смешнее, о его поучениях, о советах начинающим инвесторам. Финансовому гуру нужна литературная запись его прорицаний. Ну и что? Заломить цену или отказаться.

Риттер боялся унижений. Он порою видел их там, где ничего подобного не было. Ну в самом деле, чего унижительного в том, что крупный бизнесмен звонит тебе через сек-

ретаря? Или, например, в том, что на встрече писателей с читателями в городе Твери твое выступление поставили на три часа дня, а не на двенадцать, как Алексея Карманова, и не на семь, как Аглаю Панину? Но Риттер нахлебался унижений с ранней юности. Мелких, вроде бы незаметных, но противных. Вроде бы никто и никогда его публично не унижал, не срамил, не высмеивал, ни дома, ни в школе. Казалось бы, все наоборот, родители его любили, а учителя ставили в пример, но вся кожа, вся кожа души, извините за выражение, свербела и чесалась от ежедневных мелких укулов. Как после парикмахерской колют состриженные волоски в воротнике свитера и проваливаются вниз, впиваются в футболку и жалят оттуда, и хочется бросить футболку в стирку, а самому – принять душ. Стиральной машины у них не было. Витя стирал свои рубашки и футболки в тазу, ставя его на табурет, поставленный в ванну. Тер воротники щеткой. Стиральная машина появилась уже потом, когда он женился, да и то не сразу. Лет пять он еще стирал вручную – свои рубашки, детские ползунки и маечки, ну и белье жены заодно. Выстирывал желтые пятнышки на трусиках, чувствуя нежность, любовь, даже что-то вроде фетишистской страсти, но и досаду, но и привычную истому униженности.

Все началось в школе. Школа была в переулке между Шаболовкой и Ленинским проспектом, а там было три очень важных дома, где жила советская элита, в основном академическая, но и министры тоже попадались. Было много ре-

бят оттуда. С Витей они вроде бы дружили, но только в школе. К себе не звали. Ну, может быть, раз или два он в эти непомерные квартиры заходил, взять книжку, вернуть книжку. Впрочем, он особо не напрашивался. Страна была советская, но всякий сверчок – если хотел нормально жить – разбирался, где чей шесток. Твердо знать, что есть компании, куда ты не вхож, было унижительно. Знать, что есть девочки, которые никогда не пойдут с тобой в кино или просто погулять, – унижительно вдвойне.

Унижением была бедность. У ребят из класса в кошельках – он видел не раз, например, в театральном буфете – были желтые бумажные рубли, зеленые трешки, синие пятерки, а иногда посвечивала и красненькая, а у него – мелочь в кармане, пятнашки и двугривенные. Одет он был гораздо хуже остальных. Деньги, кстати, в семье были – не такие, как у академиков, но все-таки. Папа был журналист, работал в «Социалистической индустрии», была такая странная газета. Закрылась в конце перестройки. А тогда-то – газета ЦК КПСС, не «орган», конечно, не «Правда» и не «Комсомолка», но все-таки. Хорошая зарплата и гонорары за статьи в других журналах: папа был научно-промышленный журналист, писал о внедрении новых открытий на производстве. Но денег все равно не хватало; на модные тряпки для студента – глупости какие! Тем более что надо было выплачивать за кооператив. А когда в редакции давали талоны на дефицит, то все доставалось маме.

Разумеется, Витя ничего не просил. Хотя было досадно. Досаднее же всего было то, что папа воспитывал в нем нарочитую скромность. Но скромная одежда в отсутствие фирменных джинсов и замшевой куртки – это же просто ужас, приют и оборванство, полушерстяные брючки с выбитыми коленями и пиджак с лоснящимися локтями.

Но папу тоже можно понять – тяжело ему жилось и нервно. Испуганно. За первую же серьезную статью отсидел два года. Там был странный, даже можно цинически сказать, смешной случай: папа написал о молодом перспективном ученом-военном-инженере, который возглавил большой, очень важный завод, статья называлась «Сталинский кадр», и ее напечатали аж в «Правде», в 1951 году. Папе тогда было двадцать три года, только что закончил отделение журналистики при филфаке МГУ. Он с газетой в руках прибежал делать предложение любимой девушке, она согласилась, они расписались, а через полмесяца его забрали: сталинский кадр оказался вредителем и шпионом. Дальше было еще смешнее: через четыре дня сталинского кадра выпустили и жену его шпионку выпустили, немецкую инженершу, которую тот из Германии привез после победы, но папа об этом узнал только через два года. Потому что про него забыли. Его не судили и даже толком не допрашивали, он отсидел во внутренней тюрьме МГБ до апреля пятьдесят третьего года, когда его просто выкинули из камеры. Вывели из дверей и сказали: «А ну, чеши домой!», не выдав никаких докумен-

тов, но взяв подписку о неразглашении. Домой шел пешком с Лубянки на Можайку, часа три топал, стер ноги в кровь о чужие великоватые ботинки (какие выдали, такие и надел; сами понимаете, когда тебя вдруг выпускают из тюрьмы, как-то глупо говорить: «Нет, погодите, вы сначала верните мои собственные туфли»). Долго мыкался, пока его взяли на работу, но он был упорен, как горный осел, – он сам так говорил, тут была какая-то многослойная ирония, вспоминался «горный орел» из речи Сталина, – и вернулся в научно-промышленную журналистику. Девушка, кстати говоря, его дождалась, с ребенком на руках, это и была мама, а ребенок был Витя. Папа ее обожал. Каждую лишнюю копейку тратил на нее, а Вите говорил: «Что парню надо? Куртка, свитер, штаны из чертовой кожи, башмаки и беретка! И вперед, на штурм вершин мироздания!» Они с мамой так любили друг друга, что его почти не замечали. Они любили друг друга нежно и преданно, ласково и послушно друг другу, но это была любовь двух очень напуганных людей. Папина тюрьма и мамины мытарства с младенцем отпечатались в их душах на всю жизнь. Папины упрямые старания выкарабкаться, приспособиться, добиться, заявить о себе сталкивались со страхом: что вот завтра заявишь о себе, а послезавтра за тобой придут.

Наверное, размышлял уже взрослый Риттер, для папы успех намертво связался с ужасом, горем, болью, крахом всего. Напечатал статью аж в самой «Правде», все поздравляют,

обнимают, руку жмут, сулят успехи – и тут же арест. Еще был случай, папа рассказал почти перед смертью: он написал в начале шестьдесят восьмого года статью об академике Сахарове. Без имени и фамилии, естественно. Так, вроде бы вообще, о гениальном инженере, который изобрел сверхоружие. Заглавие «Русский громовержец». Отнес в журнал «Знание – сила». Все были в восторге. Но буквально через месяц громовержец напечатал за границей свои диссидентские размышления. Спасибо главному редактору товарищу Филипповой, просто выкинула статью из номера, а папе при встрече поднесла кулак к носу, но и всё. А если бы на ее месте была какая-нибудь сволочь? Сообщение в органы – и конец карьере. Вот такой неразрешимый конфликт – желание успеха и страх выделиться из ряда. «Самое дорогое у человека – это жизнь, – говаривал папа. – Она дается ему один раз, и ее надо прожить так, чтобы тебя никто не заметил». Папу было жалко до ужаса. Он умер в семьдесят девятом, печально думал Виктор Яковлевич уже в двухтысячные годы, а родился в двадцать седьмом. Ужас даже не в том, что он мало прожил, всего пятьдесят два года. Ужас в том, что советская власть была для него вечной. Родился при Сталине, умер при Брежневе.

Отсутствие блата – вот что еще мучило Витю. Звучит некрасиво – ну хорошо, давайте это назовем «полезными знакомствами» или «социальным ресурсом». Все кругом всё доставали по блату: от вкусных вещей до красивой одежды.

Лечились по блату, учились по блату, билеты на поезд доставали по блату. Но папа гордился, что живет честно и что им ничего лишнего не надо. А когда появлялся блат, он упирался в родительскую прижимистость.

В редакции давали «заказы», то есть продуктовые наборы, но только по праздникам. А тут надо было принять гостей, маминых родственников из Куйбышева. Витю послали к знакомому директору гастронома – знакомому не родителей, а знакомому знакомых, через пятые руки, и вот он пришел: «Здравствуйте, я от Михал Михалыча, он звонил», – и директор, листая на своем столе какие-то сальные листочки, исписанные кривыми крупными буквами, фамилиями и телефонами – тот еще грамотей, небось! – спрашивал: «А когда звонил, напомните... Ага, ага, ваша фамилия... Витя Конников, так?» – «Так, так». Директор и оглядел его и ничего не понял. Потом понял, что это какой-то чужой мальчик. Мальчик по поручению. Племянник, возможно.

– Ну, чего тебе, Витя? Ничего, что на «ты»? Отпустим тебе, Витя, хороший заказик. Ниночка, принесите Вите заказик.

Папа дал ему двадцать рублей. У него в кармане было еще рубль три. Два рубля бумажных и мелочь. Заказик, принесенный Ниночкой, – картонная коробка, которую она поставила на соседний с Витей пустой стул, стоил двадцать три восемьдесят. Цифра была написана карандашом на картонке.

– Нам столько много не нужно, – сказал Витя и покраснел.

– Отложить чего-нибудь? – все понял директор, но на всякий случай уточнил, снова перейдя на «вы»: – А вы, Витя, какой суммой располагаете?

Вспотев от стыда, он выложил деньги и выгреб из кармана всю мелочь. Получилось двадцать три пятьдесят.

– Вы где живете? – зачем-то спросил директор.

– На Шаболовке.

Директор забрал двадцать два рубля. Рубль пятьдесят оставил.

– Езжай на такси, Витя. Тут хватит. А ящик тяжелый.

Витя чуть не заплакал от унижения и благодарности одновременно.

Выйдя из «Гастронома», подумал, что ящик не такой уж тяжелый, и решил дотащить его до остановки, а там пешком недалеко. То есть решил сэкономить полтора рубля. Устал. И еще по дороге подрался с какой-то мелкой шпаной. Два паренька хотели отнять у него коробку: не продукты забрать, не блокада, слава богу, а так, покуражиться. Дергали за веревку и говорили: «Ух ты! Копченой колбаской пахнет! Поделись! Ты что, миллионер, что такой жадный?»

Витя был тощий и не очень рослый. Он не мог взять за грудки и внушительно тряхануть или крепко оттолкнуть, как делали здоровые ребята. Он мог либо убежать, либо уже бить изо всех сил в переносицу или в глаз. Конечно, он почти всегда убегал. Ну или как-то договаривался. Но бежать с таким ящиком было невозможно. Витя занимался карате, ходил в

подвал ЖЭКа в секретную группу, к тайному тренеру, потому что карате было запрещено. Хотя, конечно, на самом деле это было никакое не карате, а дрыганье ногами и маханье руками в дурацких позах, но зато с боевыми выкриками. Плюс битье ребром ладони по доске, обмотанной толстой пеньковой веревкой. Доска называлась «макивара». В общем, театр для себя. Но Витя верил, что овладевает тайным смертоносным «искусством голой руки». Поэтому в ответ на приставания этих шпанят он поставил ящик боком на асфальт, уперся в него, подпрыгнул и сумел-таки врезать одному из них ногой в живот. Тот повалился, визжа: «За что бьешь, сука? За что?» Другой тут же убежал. Вот это «за что бьешь» возмутило Витю, привело его в бешенство, которого он за собой не знал. За что? За то, что ты отнять у меня хочешь колбасу, которую я несу папе с мамой! На секунду ему показалось, что сейчас на самом деле блокада, голод, и он несет хлеб умирающим старикам родителям. Он ударил этого шпаненка ногой еще раз и еще. Наверное, он бы его совсем покалечил, но тут показался трамвай.

Директор назвал его Витей Конниковым.

Все правильно.

Риттер – это был псевдоним. Это смешно вышло. После журфака Витя Конников устроился в «Московскую правду», в отдел культуры. Этот отдел на всю газетную Москву был знаменит фамилиями сотрудников: Балаш, Кубарь, Весс, Дрозд, Бердыш и Атаман. И все фамилии настоящие,

паспортные! Две последние – женские, Татьяна Бердыш и Лариса Атаман. Ну что в такой компании делать Конникову? Псевдоним придумывали всем отделом. Хотелось как-то привязать к коню, к всаднику. Рейтар? Райдер? «Еждец!» – смачно сказала по-польски Лара Атаман. Решили, что лучше всего Риттер. Рыцарь – он ведь тоже на коне.

Потом он сумел сменить фамилию в паспорте.

На еврея он совсем не был похож, и через несколько лет его стали спрашивать, нет ли у него немецких корней. Не станешь же всем и каждому объяснять, что он – Витя Конников, а псевдоним ему придумали ребята в отделе культуры газеты «Московская правда». «Да, – кивал он, – некоторым образом, отчасти... Русский немец. Из немцев Поволжья? Нет, не совсем... Из немцев, что жили вокруг Петербурга. Приехали в начале девятнадцатого века. При императоре Александре Первом. Еще до войны тысяча восемьсот двенадцатого года». Он даже прочитал что-то об этом, чтоб его слова о предках звучали исторически вероподобно, а к пятидесяти годам более или менее сносно выучил немецкий. Читал Келлермана и Томаса Манна, Гофмана и Лессинга. Собрал небольшую, но очень красивую библиотечку немецкой литературы – в магазине «Дружба» на улице Горького продавались аккуратные старомодные томики из серии *BDK*, в цветных матерчатых переплетах с золотым тиснением. Читал сначала со словарем, а потом почти свободно и даже получал поэтическое удовольствие от «Книги песен» Гейне, но

говорил плохо, с ужасным акцентом. Но придумал хитрость: слегка глотал окончания и объяснял, что это диалект – так бабушка говорила... А к шестидесяти и вовсе уверился, что он на самом деле немец и дедушку звали не Иван Федорович, а Иоганн Фридрихович.

В отделе культуры работать было весело, интересно, вполне денежно, но тоже унижительно: брать интервью или писать статью о человеке, который если не глупее, то, уж конечно, не умнее и не талантливее тебя. Наверное, настоящий журналист должен любить своих героев, настоящий критик – любить своих писателей, но Витя думал только об одном: не хочу писать о чужих книгах, не хочу писать о каких-то там писателях – хочу, чтобы писали обо мне, о моих повестях, рассказах и пьесах. Поэтому однажды воскресным утром он заправил в пишущую машинку бумагу и написал: «Вечер памяти. Рассказ». Рассказ был о том, как вдова ждет гостей на годовщину смерти мужа. Пригласила человек десять, наготовила, накрыла стол, а никто не пришел. Поплакала, записала закуску в холодильник, а на завтра на работе рассказывала, какие люди у нее были, какие тосты говорили и как все друзья до сих пор помнят ее покойного мужа. Рассказ, конечно, не напечатали. В «Новом мире» приятная пожилая дама сказала: «Рассказ неплох. Рассказ даже хорош. Но, – она снисходительно улыбнулась, – это все-таки не новомирский уровень». Витя порвал рассказ в клочья, все четыре эк-

земляра, выбросил во дворе в канаву, там как раз меняли трубы и взрыли газон (не в мусорное ведро выбросил, не в урну, а именно в землю, чтоб похоронить!), но затею стать писателем не оставил.

Упрямо и понуро, как его папа, то есть как ослик на горной тропинке, Витя Риттер носил свои сочинения в журналы, в театры и на киностудии: рассказы и повести, пьесы и сценарии. Печатали едва-едва, рассказик в год. Две инсценировки поставили где-то далеко от Москвы. Заказали экранизацию для телевидения. На его пьесы откликались совсем никудышные режиссеры, у которых ничего не получалось в самом простом, техническом смысле: ставить негде и не с кем. «Слава льнет к славе, сила к силе, а чепуха к чепухе, – тоскливо думал Витя Риттер. – Сила усиливает силу, а чепуха делает чепуху еще чепуховее. Слабость ослабляет слабость».

Успех пришел внезапно и как-то по-уродски. Унизительно и обидно. Был 1987 год, семидесятилетие Октября. Времена странные – уже перестройка, но еще советская власть. Гласность объявили, но «датские» спектакли никто не отменял. Знаменитейший московский режиссер собрался ставить пьесу столь же знаменитого драматурга, где впервые очень человечно показывался не только Ленин, но и Троцкий, и Бухарин, и Каменев с Зиновьевым, и даже, представьте себе, Сталин. «И Ленин такой молодой, и Сталин еще не злодей». Пьеса была о том, что все они в октябре 1917-го

были просто люди, разночинцы и полуинтеллигенты, огорошенные свалившейся на них громадой власти. Суетливые, недалёковидные и, главное, очень склочные – оттого что растерянные. Перестройка, вы же понимаете, – писатели осмелели. Но и советская власть пока еще была жива, и цензура не дремала. В министерстве культуры великому режиссеру сказали, чтоб он думать забыл об этих фокусах. Нечего ставить к юбилею? Ну и не ставь ничего, старый дурак! Никто тебя из партии не погонит, не бойся. Однако в литчасти театра как раз валялась пьеса молодого драматурга Виктора Риттера, тоже острая, актуальная и все такое, но без Сталина и Троцкого; нечто про современную молодежь, которая на задворках районного Дома культуры ставит комедию про комсомольцев-синеблузников. Название – «Мечтатели». С одной стороны, борьба прогрессивной энергичной молодежи против застарелой трусливой дирекции и много музыки и танцев – ну просто «Карнавальная ночь» в перестроенном варианте. С другой стороны, революционная преемственность поколений. Но, с третьей стороны, еще и серьезный кукиш в кармане: в 1920 году один комсомолец мечтает, что через двадцать лет, в далеком 1940 году Маяковский напишет лирическую пьесу о любви, а Гумилев – героическую поэму о Красной армии. Всего одна реплика, но зато какая! Бьющая наповал. Ударом карате, с разворота – ногой в грудь, и привет. В общем, знаменитый режиссер, которому запретили ставить про Троцкого и Сталина, объявил в

интервью «Известиям», что к семидесятилетию Октября он ставит пьесу молодого драматурга Виктора Риттера «Мечтатели». Тогда театральная жизнь в СССР была такая, что областные театры во всем копировали Москву, особенно же в смысле репертуара. Тридцать два театра по всей стране схватили пьесу Виктора Риттера и начали репетировать. Правда, реплику о Гумилеве и Маяковском цензура выкинула, но уж ладно. Главное – внезапная известность. Встречи с журналистами, семинары молодых писателей, поездка в Венгрию в составе делегации деятелей культуры, и еще главнее – под это дело удалось быстро напечатать кое-что из прозы и заключить договор на многосерийный телефильм.

Но Витя Риттер ждал настоящей славы. Мечтал, как на премьере «Мечтателей» на сцене того самого, знаменитейшего московского театра он выйдет на сцену кланяться. Как режиссер позовет его из первого ряда партера царственным, но уважительным жестом. Великий мэтр тряхнет своей седым чубчиком и громко скажет: «Автор!» – и театр зайдется в аплодисментах.

Тем временем автор пьесы про Ленина, Троцкого и Сталина кое-что поправил, кое-что смягчил, убавил человеческого и прибавил революционного, достучался до помощника Горбачева товарища Черняева – и пьесу разрешили, и великий режиссер взялся ее репетировать. Однако позвонил, объяснил ситуацию, извинился. Прислал приглашение на премьеру на два лица. Из-за этого Витя возненавидел его еще силь-

нее.

«А может, пойдем все-таки?» – спросила Витю жена. «В чужом пиру похмелье!» – мрачно сказал Витя. Все-таки пошли. Было не так унижительно снаружи, как невыносимо внутри. В антракте мэтр пожал Вите руку, познакомил с его удачливым соперником – пожилым, полным, астматическим мужчиной – и даже сказал что-то вроде: «Очень, очень талантливый молодой писатель». Очень, очень приятно! Рядом с мэтром стояла его дочь, почти очаровательная высокая девушка в красном платье с голой спиной, как на зарубежном кинофестивале. На ней были тонкие парчовые туфли, но размер, наверное, сорок второй. Через парчу проступали некрасивые пальцы. Надела бы лаковые, дурочка... Она смотрела на своего отца неприлично обожающим взглядом. Он ловил ее взоры и счастливо улыбался в ответ. Все кругом были счастливы. Витя ненавидел мэтра сильнее, чем удачливого соперника. В конце концов, этот задышливый советский классик тут ни при чем, он ничего Вите не обещал. Он играл в свою игру. А режиссер – обещал! Пожимал руку, подсаживался рядом, обнимал за плечо, дымил сигаретой прямо в ухо, чиркал синим карандашом по машинописи... Да, он тоже играл в свою игру, но Витя у него был пешкой. Витя смотрел на него и ненавидел его до озноба. Хотелось придумать ему страшную кару, зверскую казнь, несчастную судьбу. «Вот пусть твоя любимая дочурочка тебя люто накажет!» Как – он не знал, но хотел, чтобы очень люто. Это ска-

залось как будто бы само, как будто в уме прозвучало, и Витя даже испугался таких жестоких мыслей. И главное, за что такая кара? Несправедливо! Ведь благодаря мэтру он, Витя Риттер, стал почти знаменит и даже некоторым образом богат, и дальше всё пошло неплохо.

Когда с режиссером потом произошло страшное несчастье, Риттер чуть ли не в церковь ходил каяться, к священнику обращался, но священник успокоил: это суеверие, нет никаких заклятий и проклятий. Желать ближнему беды и гибели – грех, но эти желания не имеют вредоносной силы. Спасибо, батюшка!

А веселую пьесу «Мечтатели» он потом – сильно потом! – переделал в драму «Лжецы». Там герои прекрасно знали обо всех жестокостях коммунистов и чекистов и даже отчасти предвидели грядущие беды России, но лгали себе и людям, танцевали и пели песенки. Карнавальный ад.

Сейчас Риттеру было шестьдесят шесть. Он, как писали критики, «прочно занимал свое собственное место в современной российской литературе». Иначе говоря, отнюдь не звезда, но и не полное барахло.

Что же касается Бориса Аркадьевича Бубнова, то он пребывал в том последнем возрасте, когда кажется, что вся жизнь впереди. Ну не вся, но еще такой большой кусок, что думать о старости и смерти еще рано и кажется, еще можно сделать все что угодно. Развестись, жениться снова, родить и

вырастить ребенка. Бросить прежние занятия, получить совсем другое образование и сделать новую карьеру. Уехать и начать новую жизнь за границей. Именно так: прожить еще одну жизнь. То есть ему было сорок пять лет. Правда, буквально позавчера он ощутил нечто новое и тревожное. Сидя в сортире, он протянул руку, взял баллончик с освежителем воздуха и пшикнул, как полагается, вверх. Через три секунды почувствовал холодок на макушке. Мельчайшие капельки освежителя опускались вниз, садились на его голову и охладили ее. Почему? Значит, он лысеет? Встав, он подошел к зеркалу, чуть пригнулся, взглянул на себя исподлобья. Вроде нет, никакой плешки. Пшикнул еще раз. То же чувство нежного холодка. Раньше этого не было. Значит, волосы начали редеть. Значит, какой-то перевал пройден. Но ничего! Еще хватит времени и сил на несколько интересных проектов. В том числе и на роман, который затеяла написать Юля.

К Риттеру он приехал точно в назначенный час, был вежлив по-западному, поэтому и называл его «господин Риттер». Изложил суть просьбы, она же заказ: жена хочет написать роман, и ей нужна помощь мастера.

– Вы хотите, чтоб я или некто по моей рекомендации написал роман, который ваша жена выпустит под своим именем? – Риттер был резок.

– Ни в коем случае! – Бубнов был мягок и просителен. – Господин Риттер, нам нужна именно помощь мастера. Уро-

ки, наблюдение, подбадривание, работа над ошибками. Теперь это называют «коучинг». Но я предпочитаю выражаться по старинке. Помощь мастера, вот так правильнее всего.

Риттер задумался, искоса глядя на Бубнова.

Вдруг показалось, что он его где-то видел. И не просто мельком, а был с ним неплохо знаком. Тем более что Бубнов вдруг сказал:

– А мы с вами, кстати говоря, соседи. Петровского, один.

Ого! Тот самый дом, где жили все эти министерско-академические отпрыски. Неужели они учились в одной школе? Но сколько ему лет? Нет, не может быть, он моложе лет на двадцать.

– Года три назад купили там квартиру, – объяснил Бубнов. – Так-то мы за городом живем, а это для встреч, ну и гостей позвать. Не всем же удобно ехать в наши края...

– Да, конечно, – покивал Риттер и снова замолчал.

– Ну и что вы мне скажете в ответ на мою просьбу? – сказал Бубнов.

– Я не просто молчу, – сказал Риттер. – Я думаю. Надо как-то сообразиться с планами...

– Да, конечно, – кивнул Бубнов и тоже замолчал.

Он глядел на Риттера и думал пошлыми словами: «Что она в нем нашла?» У него было страшное чутье на чужие мысли и желания, недаром ему люди мешками несли деньги. Он сразу понял, что у Юли в голове живут какие-то фантазии о Риттере. Что всё это не просто так. Нет, скорее всего, там

ничего не было, но что-то все-таки было. Но что? И главное, чем ее мог привлечь этот небогатый и неизящный старик?

Тем временем в дверь без стука вошла жена Риттера. Бубнов быстро оглядел ее: почти ровесница хозяина, то есть за шестьдесят, высокая, даже стройная, хоть и полноватая, натуральная блондинка, только начинающая седеть; волосы высоко подобраны на макушке, маленькие очки, домашний халат.

– Пардон, – сказала она.

Взяла с полки книгу и вышла, но на пороге обернулась:

– Хотите чаю? Или кофе?

– Благодарю вас, нет, – сказал Бубнов, вставая с кресла, и обернулся к Риттеру. – Господин Риттер, представьте меня вашей жене!

– Рекомендую, господин Бубнов, – сказал Риттер.

Она протянула Бубнову руку и сказала:

– Очень приятно.

Потом вышла и закрыла за собой дверь.

– А как зовут вашу жену, господин Риттер? – спросил Бубнов.

– Нетрудно догадаться, – холодно сказал Риттер. – Госпожа Риттер ее зовут. Дайте мне еще немного поразмыслить.

Совсем недавно, полгода назад, они чуть было не развелись.

«Хочу напоследок пожить одна», – сказала она, вернув-

шись из больницы с ужасным диагнозом. Страшно сказать, но он на секунду обрадовался. Как жаром обдало чувство близкой свободы. Даже картинки замелькали в уме – что это будет, как это будет. Но через полсекунды стало стыдно, невыразимо стыдно, и тут же клятвенная мысль – останусь с ней навсегда, до последней минуты, а потом ни за что не женюсь. Хотя какое женюсь – шестьдесят шесть лет. Но, с другой-то стороны, у двух, даже у трех семидесятилетних приятелей были годовалые дети от новых молодых жен. От бодрых, сильных, крепких женщин лет сорока. Нет, никогда, только не это. Утром, когда она вставала и шла в кухню пить кофе, он нюхал и целовал ее подушку и чуть не плакал от раскаяния, умиления и желания жертвы. Через две недели оказалось, что все в порядке, плохого диагноза нет. Она сказала, что врачи ошиблись. Но уходить решила все равно.

– Ну, раз уж я собралась, – сказала она. – Я уже как-то привыкла к этой мысли.

– Почему?

– Хочешь честно? – спросила жена. – Ты мне надоел.

– Почему?

– Не знаю. – Она сказала с искренним смущением.

Как человек интеллигентный, подкованный и следящий за событиями, которого вдруг спросили про какой-то нашумевший спектакль: «Ты, конечно, был, видел?» – смущенно отвечает: «Нет, не был», разрушая свой образ театрала, знатока и ценителя, но врать было бы еще хуже.

Риттер испугался, что она на самом деле уйдет, просил ее остаться, даже умолял, говорил, что не сможет жить один. Она отвечала, что ничего страшного: она уже много лет живет одна и не сдохла, как видите. «Как одна?» – Риттер мотал головой и жмурил глаза, не понимая. «Да очень просто, – грустно говорила она. – Я жила тобой одним и еще Митькой (это был сын). Митька уехал, а ты за всю жизнь на меня ни разу глаз не поднял от своих сочинений... Нет, я очень уважаю твою работу и кое-что даже люблю, кое-что здорово написано, но я ведь живой человек!» Риттер обидчиво начал перечислять премьеры, вернисажи, банкеты и путешествия-поездки. «Ведь мы всюду были вместе!» – «Так ничего и не понял. – Она взмахивала рукой, длинной узкой рукой с золотым пушком выше запястья. – Я была наполнена тобой, ты занимал меня всю, целиком. Твоя работа и твое здоровье, купить-приготовить-вымыть-убрать, а еще прочитать и поговорить, ты был мое всё. А я тебя не интересовала. Ты был занят только собой. Во мне был только ты, а в тебе не было меня, ни капельки, ни крошки, ты не мог запомнить про меня ничего. Вот и получается: я полна тобой, а ты мною пуст, то есть я оказалась совершенно, совсем пуста... Получается, что во мне не было меня, какая-то удивительная пустота...» – «Не понимаю!» – «Верю, верю!» – то ли смеялась, то ли морщилась она.

Потом она прекратила эти разговоры. Ни да, ни нет, ни «остаюсь», ни «ухожу». Так и жили, не объяснившись до

конца.

А тут еще этот Бубнов со своей женой, которая захотела написать роман.

Нет, конечно же. Времени мало, времени нет, надо свое дописывать. Да и вдруг у него на самом деле начинается маразм и склероз, то есть и время упустит, и перед людьми опозорится. Перед этой дамочкой, а через нее – перед всем светом.

– Может быть, вы мне дадите ответ завтра или когда вам будет удобно? – спросил Бубнов, пошевелившись в кресле, потому что прошло уже минуты две.

– Хорошо. Впрочем, вот. Ответ готов. Хорошо, я вам помогу. Но, так сказать, верхним надзором, если угодно. Читать готовые большие куски. Советовать, если увижу, что мой совет нужен. Но постоянно работать с автором я не смогу. Постоянно работать будет мой ученик. Мой лучший ученик. Мой любимый ученик. Очень одаренный молодой писатель. Хороший редактор. И вообще приятный человек. Уверю вас, он будет работать прилежно и добросовестно.

Бубнов поднял брови, но потом сказал, что передаст это своей жене, и уж как она решит. Риттер сказал, что он, в свою очередь, позвонит своему ученику и обрисует ситуацию. В общем, созвонимся через пару дней.

– Но самое главное, – добавил Риттер. – Этот человек будет работать только над вашим романом. Только и един-

ственно. Не отвлекаясь более ни на что.

– Да, – сказал Бубнов.

Это сильнее всего понравилось Юле. Чтоб ею занимались, не отвлекаясь более ни на что.

Молодого писателя звали Игнат Щеглов. Ему было двадцать шесть, по образованию филолог, но диссертацию защитил по философии. Уже успел напечатать две книги.

– А вам это зачем? – спросила его Юля. – Писали бы себе дальше свои собственные книги. Это же год на выброс.

Он ей понравился. Она посмотрела его повести. Ничего. Нормально. Грамотно и внятно, хотя без особой оригинальности. Но это как раз то, что надо. Не будет тащить за собой, навязывать свой стиль. Выглядит прилично: хорошего роста, приятный голос, аккуратно одет, по разговору видно – неглуп и начитан, держится достойно – не лебезит перед заказчицей, но и никакой тайной иронии к богатой дамочке. И никаких чарующих взоров, что тоже важно.

– Почему же на выброс? – сказал Игнат. – Это интересный опыт, мне кажется. И потом, может быть, я из ваших отходов и обрезков какую-то свою повесть сооружу.

– Но-но! – подняла палец Юля. – Все мои обрезки – мои, и никаких.

– А мои? – тут же возразил он. – Я же вам что-то буду предлагать, какой-то текст. Вы, скажем, возьмете половину. А вторая половина моя? Или нет?

– Это мы будем уже конкретно решать в каждом случае, – сказала Юля. – Теперь давайте о деле. Где, когда и почему.

Игнат Щеглов запросил очень много. По цене психоанализа: сто евро в час. Но сессия – четыре часа. Минимум две сессии в неделю – понедельник и четверг. А лучше – понедельник, среда, четверг. Вот и считайте, Борис Аркадьевич, во сколько это вам станет.

Где? Разумеется, в отдельном офисе. Через неделю он снял квартиру недалеко от метро «Беляево». Улица генерала Антонова, семь. Юля приехала посмотреть. Однокомнатная, с небольшой кухней. Новенькая икейская мебель: письменный стол, кресло рабочее, кресло для отдыха, раскладной диван с высокой спинкой. Книжный стеллаж, шкаф и комод. В кухне тоже все новехонькое: электрочайник и микроволновка, маленькая стиральная машина, несколько тарелок и чашек. Из окна виден Битцевский парк. Прохладный ветер оттуда.

Юля села на диван. Подсунула под спину подушку, тоже икейскую, с черно-желтыми узорами. Поерзала, подрыгала ногами, раскинула руки по диванной спинке. Затылком и шеей попробовала, удобно ли опираться. Сказала:

– Через неделю начинаем. А у вас есть семья?

– Мама и папа, – сказал Игнат.

– Тогда давай на «ты», – сказала Юля.

Часть первая. Вечер памяти

- Давай начнем так, – сказала Юля, листая записную книжку. – Вот прямо с места в диалог. Ты готов?
- Готов, – сказал Игнат.
- Тогда, например, вот так. Слушай и записывай.
- Ты что, будешь диктовать, а я – печатать?
- А как же! За сто евро в час – нормально. А ты как себе представлял? В чем тогда наша совместная работа? Давай садись за комп, и поехали:

1.

– Мама, ты бы самолеты убрала, ей-богу! Устроила, понимаешь, дом-музей. Самолеты, фотографии, книги расставила, только орденов не хватает на шелковых подушечках, как за гробом несут. Или это ты специально для гостей? В честь события? Где, кстати, гости? Ты к которому звала? К семи? А сейчас уже половина восьмого, кажется. Да. – Он поглядел на часы. – Почти без двадцати. Друзья-соратники, смех один!

Так говорил тридцатитрехлетний, но уже многого достигший ученый и администратор Алексей Перегудов, обращаясь к своей матери Римме Александровне, проходя из каби-

нета покойного отца через гостиную в просторную столовую и подойдя к столу, накрытому на двенадцать персон.

– Подражаешь Льву Толстому, – сказал Игнат.

– Да?

– «Война и мир» примерно так же начинается, с места в карьер: «“Ну, князь, Генуя и Лукка – поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы еще позволите себе защищать все гадости этого Антихриста – я вас больше не знаю”. Так говорила фрейлина Анна Павловна Шерер важному и чиновному князю Василию». Не годится.

– Не годится, – серьезно ответила Юля. – Дешево. Грубая лесть под видом замечаний. Это так положено? Это ты всем так говоришь?

– Ах, извините.

– Ну ладно. Прощаю. Но больше так не делай. Давай дальше.

...Стол был накрыт на двенадцать персон.

Сегодня была десятая годовщина смерти генерал-лейтенант-инженера Сергея Васильевича Перегудова, бывшего министра специального приборостроения; было такое министерство с самого конца сороковых по середину семидесятых.

Приглашены были: начальник Межведомственного

управления специальных разработок генерал-полковник-инженер Ярослав Диомидович Смоляк; академик-радиотехник Альфред Адольфович Бергман с женой; замминистра обороны Николай Андреевич Мальцев, тоже с женой; профессор Генриетта Михайловна Карасевич с дочерью Ольгой; Тоня, дочь министра Перегудова от первого брака, и, наконец, Алексей и его жена Лиза. Десять человек – ну и, разумеется, Римма Александровна, вдова министра Перегудова, и ее помощница-подруга-дальняя родственница Любовь Семеновна, живущая у нее в доме.

Римме Александровне было пятьдесят шесть, но выглядела она прекрасно. Даже странно было, что эта красивая молодая дама – мама вот этого дяденьки, сутуловатого и лысеющего.

– Как ты выражаешься, однако, – пожалала плечами Римма Александровна. – В честь события... Сегодня годовщина смерти твоего отца!

– Ну, извини. Но самолеты тут вообще ни при чем. Он не строил самолетов.

– Твой отец делал то, без чего ни один самолет не летает! – надменно сказала Римма Александровна. – Особенно современный!

После краткой паузы она сказала:

– Когда мы приехали, на могиле уже были цветы. Розы очень хорошие. Интересно, кто это принес? Тонька, навер-

ное. Наверное, нарочно приехала рано-рано. Не хотела со мной встречаться. Ну что же. Я ее понимаю отчасти. Кто я для нее? Змея-разлучница. Увела у матери мужа, а у нее – отца. Да, да. Ты права, Тонечка. Но извини, твой папа ушел ко мне от твоей мамы тридцать пять лет назад. Да, тебе было пять лет, ты очень переживала. Девочки это всегда переживают особенно. Но ведь тридцать пять лет назад! Жизнь назад, если по меркам прошлого века! Человек успевал родиться, вырасти, стать знаменитым и умереть. Как Лермонтов. Он вообще в двадцать шесть. Или Грибоедов. Какая бессмысленная злопамятность! Тридцать пять лет прошло, а она все забыть не может. Тем более что отец умер десять лет назад. Десять лет как его на свете нет. Ну, позвони, приходи, посидим, поговорим, вспомним. Просто будем общаться, мы же родственники! Так нет же. Так и будет меня ненавидеть. Странные люди! Какие кругом странные люди.

Зазвонил телефон в другой комнате, в гостиной.

Римма Александровна побежала ответить. Слышно было, как она сначала говорит: «Алло», а потом: «Здоровья вам, здоровья!»

– Бергман, – сказала она, вернувшись в столовую. – Сердце прихватило.

– Дипломатическая болезнь? – усмехнулся Алексей.

– Какой ты злой! Он же совсем старенький, песочек сыплется... Как это неприятно – вот это твое недоверие ко всем. Сказал человек, что болеет, значит болеет. Тоньки тоже не

будет, скорее всего. Кто же остается? Ярослав обещал. А почему ты без Лизы?

– Она тоже болеет.

– Поймал меня! – засмеялась Римма Александровна. – Остаются: Мальцевы и Генриетта с Олечкой. Я в этот раз решила, пусть Генриетта придет с дочерью. Это будет правильно. Ты не против?

– Да нет, я очень даже за.

– Вот и хорошо. Плюс мы с тобой, Любочка и Ярослав, итого восемь. Ничего.

В дверь позвонили.

– Давай загадаем? Я думаю, Ярослав, – сказала она и крикнула: – Любочка, откройте!

– Мальцев, – сказал Алексей.

Это оказался фельдъегерь от Мальцева. Лейтенант вытащил из портфеля («А почему не из полевой сумки?» – с отстраненным смешком подумал Алексей) конверт, передал Любови Семеновне. Она расписалась. Римма Александровна распечатала письмо, достала открытку.

– «В этот печальный день мысленно вместе»? – спросил Алексей. – Слушай, не плачь, ну их всех к черту. Давай выпьем.

– Мальцев – ладно, – сказала Римма Александровна. – Но Ярослав меня удивляет. Где он шляется?

– Ярослав Диомидович отсутствует по уважительной причине, – сказал Алексей.

– Откуда ты знаешь? Ты что, звонил ему на работу?

– Нет. Но я знаю его много лет. И ты его знаешь, еще дольше. Раз его нет, значит, его вызвали по абсолютно неотложному делу.

– Откуда ты знаешь? Что его, в Отдел вызвали? К Романову?

– К какому Романову? – спросил Игнат.

– К Григорию Васильевичу, – объяснила Юля. – Заведующий Отделом оборонной промышленности ЦК КПСС с восемьдесят третьего по восемьдесят пятый. Я знаю, о чем пишу. С именами и датами у меня порядок.

– погоди. Так мы про какое время? Когда происходит действие?

– Четырнадцатого сентября тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года. Пятница.

– Прямо вот именно этот день? – Юля кивнула. – Это какой-то важный день? – Юля кивнула. – А что тогда случилось? – Юля пожала плечами. – А? Что за день?

– Важный для сюжета, – сказала Юля.

– Так погоди, значит, мы сочиняем роман о советской жизни? О восьмидесятых? О конце застойного рая? То есть мы в тренде!

– А? – Юля как будто очнулась.

– Ну, сейчас это модно. Все пишут про это... И читают, вот что особенно смешно! Ностальгия, *back in the USSR*, советский вишневый сад простер над нами свои бело-розовые ветви. *Молодость моя, чистота моя, вот моя пионервожатая идет, вся в белом...*

– Всё? – холодно спросила Юлия. – На чем мы там остановились?

– «Его что, в Отдел вызвали? К Романову?» – прочитал Игнат.

– Ага. Давай дальше. Пиши:

– Нет, – сказал Алексей. – Впрочем, неважно.

– Неважно? А отец его спас, между прочим! Неужели он тебе не рассказывал? Его только что назначили директором, и у него вдруг начались крупные вредительства. Два подряд в течение месяца.

– То есть аварии?

– Это сейчас «аварии», а тогда это были вредительства. И жена – немка. Алиса Лангер. Этот идиот привез себе из Германии хорошенькую немочку, кретин... Которая работала на «Сименсе». Ясно тебе, что ему ломилось? И тогда твой отец пошел прямо к Иосифу Виссарионовичу!

– Перестань. Его никто так не называл. Говорили «товарищ Сталин», и всё, – поправил Алексей.

– Хорошо. Пускай. – Римма Александровна нервно расхаживала вдоль стола. – Добился приема у Сталина. Это было в

августе пятьдесят первого. Ему было назначено на двадцать два тридцать. Я тогда была беременна тобою. На сносях. Он вернулся как сумасшедший. Он говорил, что Сталин, оказывается, очень старый. Совсем старый. Но очень мудрый. Но, наверное, не только в том дело. Я его спрашивала: «Что с тобой?» А он говорил: «Я видел Сталина. Я был дома у Сталина».

– Дома? – спросил Алексей.

– Да. То есть на даче. Ему было назначено на двадцать два тридцать. Он поехал в Кремль. Приехал раньше, разумеется. Не хватало к Сталину опоздать! В половине десятого уже был в Кремле, в приемной. А ему сказали, что товарищ Сталин будет его ждать на даче. Начальник охраны генерал Власик сказал, что товарищ Сталин очень извиняется, он днем неважно себя почувствовал, у него был профессор Виноградов и посоветовал ему пару дней не ходить на работу. Но он будет ждать вас на даче. Езжайте. Товарищ Косынкин, обозначьте товарищу Перегудову машину. Отец и поехал на дачу. Уже не на своей машине. Он сказал, что слегка испугался. Ты сам пойми. Приехал на своем министерском ЗИМе, а ему говорят: пройдите вниз, вас отвезут. А мой шофер? А ваш шофер вас подождет. Страшно.

Вернулся в шесть утра. Они со Сталиным разговаривали до половины пятого.

– А может, он у бабы был? – вдруг зло засмеялся Алексей.

– Чучело! – сказала Римма Александровна. – Он был как

сумасшедший. Все время повторял: «Я четыре часа разговаривал со Сталиным». Больше ни слова. Я была на сносях, я уже сказала. Когда он вернулся, когда на рассвете я услышала ключ в дверях, у меня начались схватки. Ты родился.

Алексей слышал эту историю раз пятьдесят. Или пятьсот. Он заскучал и посмотрел на часы.

– Мы отдельно потом сделаем эту сцену, – сказала Юля. – Перегуदov ночью на даче у Сталина.

– Хорошо, – сказал Игнат. – А сейчас что?

– А сейчас Римма Александровна сидела за пустым столом и чуть не плакала. Увидев, что Алексей поглядывает на часы, совсем разобиделась: «Выпей рюмку и иди! Иди!» Алексей решил поехать и привезти Генриетту Михайловну Карасевич.

2.

– Здравсьте, Генриетта Михайловна! – Он стоял на пороге ее квартиры.

– Здравствуй. Что случилось?

– Да так, ничего. – Он в плаще прошел в комнату. – Шел мимо, решил зайти. Вижу, огонек в окошке. Торшер вот этот из окна виден. На огонек и пришел. Генриетта Михайловна, дайте мне маленькую вазочку. Или даже стаканчик. Вот, я сам возьму.

Он вынул одну розу из вазы, поставил отдельно в стакан. Налил туда немного воды из вазы.

– Ты что делаешь?

– Цветы, небось, аспирант подарил какой-нибудь? Неправильные цветы. Восемь штук. Плохая примета. Четные цветы – только на могилу. Вот так лучше – семь и одна. Я послал тебе черную розу в бокале... в стакане золотого, как небо, «Агдама»...

– Что тебе надо, Алексей?

– Генриетта Михайловна, у меня к вам вопрос совершенно случайный. Вот если для моей задачи взять решетки Вигорелли?

– Ты за этим пришел на ночь глядя?

– Ну какое ж на ночь? Начало девятого. Завтра суббота. Еще не вечер. А сегодня, дорогая Генриетта Михайловна, четырнадцатое сентября. Годовщина папиной смерти. Десятая, между прочим.

– Не надо мне напоминать, – сказала она.

– Что ж тогда не позвонили, если помните? Вы столько лет знали папу, он очень вас любил, и ценил, и уважал, почему же вы сегодня не с нами? Ведь мама вас приглашала! Приглашала ведь?

– Да, что-то такое было. Какие-то отдаленные намеки. Не знаю. Сейчас Оля придет из института, ее надо встретить, накормить.

– Какие намеки? Мама пригласила вас с Олей. Она мне

так и сказала: придут Генриетта Михайловна и Оля. Давайте ждать Олю. Придет, и сразу к нам. Генриетта Михайловна, мама так ждала этого дня. Готовилась. Наприглашала гостей. А никто не пришел. Кто заболел, кто уехал, кто вовсе пропал... Поедьте, Генриетта Михайловна. Мама совсем одна, понимаете, совсем одна в такой день.

– Одна? Если бы еще гостей полон дом, куда ни шло, отсидеться в уголке. А так – ну о чем мы с ней будем говорить, скажи на милость?

– Никак понять не могу: вы что, в ссоре?

– Ладно тебе, Алексей. Никуда я не пойду.

– А Олю я все равно дождусь и уведу. И станем мы пить сладкое вино и заедать перчёным мясом, а вам, Генриетта Михайловна, будет завидно.

– Послушай, почему ты такой нахальный?

– Вас ли мне стесняться, Генриетта Михайловна! Я же у вас учился в институте пять лет и еще в аспирантуре три года... Почти что родственники. И вовсе я не нахальный, я робкий, застенчивый, а робкие всегда защищаются показной наглостью. Так как насчет решеток Вигорелли?

– Это совсем для других задач.

– А если подумать?

– Не желаю думать! – сказала она. – А то вот я сейчас случайно ляпну что-нибудь гениальное, а ты хоп – и новый подход создашь. Или статью напишешь, на худой конец.

– Не вы первая мне это говорите. – Он потер себе лоб. –

Какой позор. Какой ужас. Что ж это с людьми сделалось?

– Да черт с ними, с людьми! – закричала Генриетта Михайловна. – Ты больше о себе думай! Думай, как себя вести. Тебя терпеть не могут не потому, что ты плохой. Ты вести себя не умеешь, ты несешь что попало, не думаешь, как это услышат, как тебя поймут... Пора уж научиться. Прости меня, но мы взрослые люди, я старая женщина, а ты давно уже взрослый женатый мужчина... Кстати, как Лиза?

– Ничего, спасибо, все прекрасно.

– Она там, у твоей мамы?

– Какая вам разница? – вдруг обозлился он.

– Что с тобой?

– Извините... – Он перевел дыхание. – Простите, Генриетта Михайловна. Устал, понервничал. Итак, на чем мы остановились? Я давно уже взрослый женатый мужчина, и что?

– И то, что ты уже лысеешь! – Она дернула его за вихор, отчего он нагнул голову. – Ты плешив! А все еще деточку из себя строишь!

– Я веду себя как умею, Генриетта Михайловна. И спасибо, цел до сих пор. Бог не выдаст, свинья не съест!

– Съест! Еще как съест! Да если бы не Ярослав, давно бы уже съела! Он, конечно, еще не старый, но... Но мы все под богом ходим. Конечно, Ярослав – сила, но не такая, чтоб действовать после смерти, ты уж прости меня. Наоборот! Всех его людей отовсюду погонят, и тебя в том числе, если ты не выйдешь на какие-то, извини за выражение, рубежи зрело-

сти. Система должна работать! Выполнять боевую задачу!

– О боже! – закричал Игнат. – Мы что, пародию пишем? Как можно так выражаться?

– Даже нужно! – ответила Юля. – Другое время, другие люди, все другое. Они думают и говорят так, как говорили люди в это время в этих кругах. Генриетте – за пятьдесят. Она лауреат Ленинской премии. Профессор МИРЭА. Член КПСС. Уже лет двадцать работает на секретных проектах. Живет в генеральском доме на Фрунзенской набережной. Вась-вась со всеми боссами ВПК. А на дворе восемьдесят четвертый год! Ты что, хочешь, чтоб она сказала: «Меня не прикалывают эти заморочки, твой дискурс мне не заходит и чисто по жизни не канает»? Нет, мой хороший!

– Но все равно. – Игнат не отступал. – Не верю, чтоб она прямо вот так: «Рубежи зрелости, боевая задача». Что она, дура?

– Не глупей нас с тобой. Вот, послушай:

– Система должна работать! Выполнять боевую задачу! – Генриетта Михайловна вдруг помотала головой и недобро засмеялась. – Прости, это звучит очень *докторально*, и *сентенциозно*, и *даже очень официозно*, прямо как в газете. Но так получается короче. Так проще и яснее, – еще злее сказала она. – Смысл остается, и он правильный. Система должна

работать, а не бежать впереди прогресса.

– Значит, вы считаете...

– Господи, – вдруг махнула она рукой и села на стул. – Да ничего я не считаю! Я тебя учила, но ты мыслишь уже совершенно по-другому. Хотя, конечно, Ярослава здорово занесло, когда он отдал тебе Лабораторию Восемь. Твое назначение – не куда-нибудь, а на место Ланского – это был скандал! А Ланской относился к тебе весьма критически, я это знаю.

– Я тоже. Также знаю, и тоже весьма критически.

Он прошелся по комнате, отвернулся к стене. Замолчал.

– О чем задумался? – спросила Генриетта Михайловна.

– А? Так, ни о чем. Об Ольге вашей. Где она гуляет до сих пор? Черт-те что. Я сижу здесь, мама одна, а Ольги нет.

– Но предупреждаю: она никуда не пойдет.

– Ну, пусть она сама мне это скажет. – Он посмотрел на часы. – У нее что, кавалеры? Да, кстати, Генриетта Михайловна, у нее есть кавалер?

– погоди. Понимаешь, Алексей, ты для меня не просто бывший аспирант, пусть даже самый талантливый. Я очень хорошо к тебе отношусь, Алеша, я жду твоего успеха, я верю в тебя, и поэтому я хочу знать правду.

– Правду? О чем? – возмутился Алексей. – Хватит загадок!

– Вот о чем. Ярослав Диомидович, помимо руководства Управлением, регулярно публикует серьезные работы. Причем – заметь! – по сугубо теоретическим вопросам. Глубо-

кие, остроумные, оригинальные работы...

– Ярослав Диомидович вообще весьма глубок, остроумен и оригинален. Возвращаю вам ваш убедительный стиль, Генриетта Михайловна, простите меня за *докторальность*, и *сентенциозность*, и даже некоторую *официозность*! Замечу, что он членкор Академии наук. Подчеркну, что его системы до сих пор работают. Напомню, что именно он придумал рекурсионные зонтики. Вот как раз в связи с этим, насчет решеток Вигорелли для зонтиков, я и хотел с вами поговорить.

Генриетта Михайловна стукнула Алексея пальцем по губам.

– Ну мы же свои! – возмутился Алексей.

– Мы-то да, – сказала Генриетта Михайловна. – У нас есть допуск. А вот у товарища майора, – и она показала пальцем на люстру, – совсем необязательно, что у него есть допуск. Так что давай без терминов. А теперь объясни мне следующий факт. Откуда взялось это поразительное совпадение мыслей в последних работах Ярослава и твоих собственных статьях? Он что, пишет за тебя? Или ты за него? Слишком много супу ты хочешь наварить из одного лаврового веночка. В глаза смотри! Ну?

– Это все неправда. И вообще уже не имеет значения. Уже всё.

– Почему «уже не имеет»? – тут же придралась приметливая Генриетта Михайловна. – Что ты имеешь в виду? Что

– всё?

– Неважно. Потом скажу.

Алексей говорил это и как будто со стороны на себя глядел и удивлялся: как это он может спокойно говорить и выслушивать какие-то сплетни о Ярославе Диомидовиче.

Потому что Ярослав Диомидович сегодня днем умер. На рабочем месте. То есть в рабочем кабинете.

3.

Алексей позвонил ему сегодня в половине третьего.

Не по поводу годовщины отца. Там была своя история: Алексей в тринадцать сорок – у него было записано в журнале звонков! – позвонил испытателям в Минск, они сказали, что все режимы уже прогнали и уже считают. Но почему-то считают люди Бажанова, то есть люди из КБ, где делали сам самолет, хотя по всем правилам служебной этики сначала считать должен изготовитель, то есть его Лаборатория Восемь, а потом отдать результаты Бажанову. Тем более что у них есть все исходники, и, если хоть тютелька сомнений, пускай перепроверяют. То есть тут явно была какая-то неясная, туманная, но несомненная гадость и вполне реальная опасность. Вот такая: свалить какие-то свои неудачи на Алексея, на его систему – и передать задание другой фирме. А Лабораторию Восемь... да мало ли что можно сделать

с Лабораторией Восемь, бывшим КБ Ланского? Задвинуть, закрыть, расформировать, слить, присоединить.

Первое и главнейшее правило добрых и товарищеских служебных взаимоотношений – сдачу давать немедленно. Желательно нокаутом.

У Алексея был очень серьезный материал на Бажанова Леонида Васильевича. Была бумажка, которая два месяца лежала у Алексея в кошельке, сложенная ввосьмеро, в отдельном кармашке, – несанкционированные контакты Бажанова на авиасалоне в Фарнборо. Бывший заместитель Ланского и секретарь парторганизации, ныне покойный – всего месяц назад скончался от острой печеночной недостаточности, – профессор Базиленко, единственный в КБ, кто искренне – хотя неизвестно почему – любил Алексея, поделился с ним этим неожиданным наблюдением. Передал собственноручно нацарапанные строки на листочке, вырванном из гостиничной записной книжечки: *Farnborough. Hotel Falcon*. И две английские фамилии. *Joseph Matthews and Rex Albee*. И дата с указанием часа. И название ресторана: *Tom Lynn Bar and Grill*.

Поэтому он сразу собрался ехать к Ярославу Диомидовичу.

Но сначала позвонил, уже без записи в журнал, разумеется. Вызвал машину, почти доехал, велел шоферу остановиться, прошел чуть вперед по длинной улице с трамвайны-

ми путями посредине.

Это был старый окраинный район, который с трех сторон постепенно обстраивался белыми панельными башнями; они виднелись вдалеке, высовываясь над горизонтом плоских крыш. Но пока тут царили четырехэтажные угловатые дома с квадратными окнами: советский стиль двадцатых и тридцатых, простодушный конструктивизм для рабочих и служащих. Тут же и фабрика «Мосрезина», и техникум легкой промышленности, и завод строительных металлоконструкций, и Дом культуры при заводе в виде скошенной двутавровой балки – по моде двадцатых годов. А потом, через несколько лет после войны, здесь построили низкое, всего в три этажа, но очень длинное здание в стиле сталинского учрежденческого ампира, помесь фабричного барака, старорусского поместья и итальянского палаццо, с портиком о шести колоннах, с обширным крыльцом, на котором стояли полированные гранитные вазы, с круглым остекленным входом – и вот здесь-то и располагалось бывшее Министерство специального приборостроения, которое потом, после отставки Перегудова, усилиями Смоляка превратилось в Межведомственное управление специальных разработок. Но, поскольку учреждение было весьма секретным, все эти ампирные красоты скрывались за трехметровым кирпичным забором, оштукатуренным и тоже отчасти ампирным, с разрустованным цоколем и неким подобием пилястр через каждые десять шагов, а между пилястрами были лепные пятиконечные

звезды на фоне стрел и молний – эмблема связистов. То есть был сделан некоторый намек на то, чем занимаются в этом безымянном и скрытом от глаз учреждении.

– А ты это все точно знаешь? – спросил Игнат. – Как живут и работают вот эти твои секретные конструкторы.

– У меня в молодости, – сказала Юля, – был один хороший друг...

– В молодости? – засмеялся Игнат.

– Ну да, – пожалала плечами Юля. – В то время, когда я была ощутимо моложе. Так вот, был у меня друг-журналист. Один раз он написал большой очерк про маленький районный краеведческий музей. Прожил в этом городке недели две, со всеми познакомился, погрузился в подробности и все в точности описал. Люди, работа, проблемы. Напечатали. И тут же письма в редакцию: «Неправда! Такого не бывает! Откуда он это взял? Клевета, выдумки, лакировка, очернение, все не как в жизни!» При чем писали точно такие же музейные краеведы. Так что не волнуйся. Все равно получится клевета и лакировка.

Юля помолчала и добавила:

– Хотя я была знакома с людьми из этих, так сказать, сфер... Ну ладно. Давай дальше.

До Управления было еще метров пятьсот. Алексей огляделся, ища автоматную будку. Рядом был газон с пыльными кустами; красный сентябрьский цвет. Трава вокруг кустов была желтая и росла пучками, между которыми виднелась скучная сухая земля вперемежку с камешками, окурками и крышечками от пивных бутылок.

4.

На даче была совсем другая трава, и земля другая, мягкая и влажная. Алеша любил ее трогать ладонью. Ему вдруг захотелось на дачу, которой уже десять лет как не было – продали.

Мама продала дачу через год после смерти отца. Через полгода, как только вступила в права наследства, то есть прямо начиная с 15 марта 1975 года, стала искать хорошего покупателя. Хорошего не только чтобы заплатил пятьдесят пять тысяч рублей, сумма невероятная по тем временам, – но двухэтажный шестикомнатный дом с камином и участком в полгектара не мог стоить меньше; но и такого, чтобы *соответствовал*. На соседней аллее один академик недавно продал другому академику почти точно такой же дом за шестьдесят. Но с новой цинковой крышей и огромной верандой с летним отоплением, а у них была черепица, а веранда совсем небольшая. Метров двадцать пять квадратных и холодная.

Ах, эта веранда!

Так было хорошо там пить чай воскресным утром, в сентябре и даже в октябре, когда уже прохладно и желтые листья за окном падали прямо на глаза, а если была тонкая дождевая морось с ветром, то листья летели и прилипали снаружи к стеклу, как желтые жалобные ладошки. Легкий озноб от холода, которым дышали одинарные стекла, чуть обжигая щеки предчувствием зимы, а сзади, в спину, через распахнутую дверь шло тепло от камина, горящего в гостиной. И быстро стынувший чай, и овсяное печенье, мягкое и чуть влажное, потому что его оставили на ночь на веранде, прикрыв фаянсовую корзинку вышитой салфеткой. И мама, и папа, и чья-то машина проезжает вдали – видно через редкий штакетник забора.

– Жаль, – сказал Игнат через два дня, – но вот этот кусочек про веранду Риттер велел вычеркнуть.

– Почему? – спросила Юля.

– Не знаю. Очень разозлился. Просто наорал на меня. «Выкиньте к черту эту подмосковную дачную лирику, это безобразие, пошлятина, Бунин для бедных! Даже хуже – Паустовский для самых маленьких. *Пахло мокрыми заборами*, тьфу на вас! Вы еще опишите старую белую краску с черными трещинами на оконных переплетах!» В общем, был в бешенстве.

– А я все равно оставлю, – сказала Юля. – Вот возьму и назло оставлю. А ну-ка, впиши вот здесь: «...от

холода, которым дышали одинарные стекла...», вот тут, вот так: «Стекла были вставлены по-старинному, с замазкой поверх тонких гвоздиков. Кое-где замазка отвалилась, черные головки гвоздей выглядывали наружу, но сверху все это было покрашено белилами, и не один раз. Белила чуть пожелтели, отвердели, почти закаменели и растрескались, и эти трещины стали черными от пыли, которая годами попадала туда во время уборки: окна мыли, протирали мокрыми газетами, и черноватая водица лилась сверху вниз, проникая в эти трещины. Потом стекло вытирали последний раз, насухо, уже сухой газетой, стекло пицало, и на нем оставались радужные разводы. На прощание рамы протирали мокрой тряпкой, но грязная вода оставалась в этих щелях, и за годы – окна на веранде мыли два, а то три раза в лето, – за годы обмазка стекол становилась похожей на сероватый камень с тонкими черными прожилками...» Три точки. А дальше про жар камина, который чувствуется спиной через запахнутую дверь гостиной.

– Почему?

– Вот так мне хочется. Ты уж извини. На свои гуляю.

Что у нас там дальше?

– Дальше, – сказал Игнат, – о покупателях дачи.

– Хорошо. Поехали. Пиши:

А сейчас – то есть тогда, весной 1975-го – мама искала покупателя. Хорошего, то есть такого, чтобы его приняли в их дачный кооператив. В поселке жили сплошные академики, один композитор и два народных артиста. К маме неизвестно откуда – вернее, прекрасно известно откуда: от портних, шляпочниц и лифочниц – стали стучаться разные странные личности. Например, известный коллекционер картин и завмаг из Тбилиси. Это были негодные кандидаты. «Нет, нет, тут не в снобизме дело! – объясняла Римма Александровна подругам. – По мне хоть говночист. – Она отчетливо произносила это слово. – Я абсолютно без предрассудков, но у нас, увы-увы, очень снобский поселок. В конце концов, у нас даже в уставе записано: Кооператив работников науки и культуры».

Так что завмаг из Тбилиси отпал сразу.

А коллекционер приходил к ним домой, приятный пожилой мужчина немного восточной, даже, наверное, персидской наружности. Деньги был готов отдать прямо сразу и без всяких расписок, на полном доверии – сказал, погладив ладонью свой портфель, и этим сильно встревожил Римму Александровну.

Алексей присутствовал при этом разговоре. Коллекционер сидел в гостиной, непринужденно, но внимательно оглядывался и рассказывал, что собирает в основном русский XIX век, середину. Картины, скульптуру, мебель и всякие мелочи вроде фарфора и бронзы, но еще и ранний советский

реализм, для контраста, так сказать. «“Бубновый валет”»? “Мир искусства”? “Маковец”?» – спросила Римма Александровна, демонстрируя некое тайное знание. «Нет, именно реализм! Почти, можно сказать, социалистический». Часы на стене зашипели, тренькнули и отбили три четверти. Подняв на них глаза, коллекционер сказал, что бывал в этой квартире, давно, совсем давно, сразу после войны. Здесь жил другой человек, известный в свое время художник, кавалер-лауреат, но совсем забытый. Потом он освободил квартиру году примерно в сорок седьмом.

– О! – сказала Римма Александровна. – А мы сюда въехали в сорок восьмом! Вот эти часы, вы не поверите, вот эти часы висели на стене. Мы с мужем входим в квартиру, с ордером в руках, в сопровождении управдома, квартира пуста, вымыта и выметена, и вдруг, как только мы вошли, – бом-бом-бом, прямо как сейчас! Ужас! Представляете себе?

– Представляю, – сказал коллекционер. – Его звали Алабин. Петр Никитич.

– Хороший хоть художник? – спросил Алексей так, для светской беседы.

– Ну, не знаю. Трудно сказать однозначно. Махровый такой соцреалист. Портреты вождей и рабочих-ударников. Но при этом хорошо *месил и мазал*. То есть живопись неплохая, вот именно если взять одну чистую живопись. Ученик Саула Гиткина.

– Кого?

– Вы не знаете и знать не можете. Ну, ничего. Вообще о нем мало кто знает. Был такой почти совсем неизвестный художник. Даже при жизни он был скорее педагог. Сам себя называл «учитель рисования». У меня его штук двадцать.

– А если он совсем неизвестный, какой толк? – спросил Алексей

– Подрастет, – сказал коллекционер. – Ой-ой-ой как подрастет.

Алексей поймал взгляд Риммы Александровны, она вопросительно подняла брови – как тебе этот человек? Алексей незаметно кивнул. Этот старик ему понравился.

Но увы! Оказалось, что он буквально-таки никто. То есть среди коллекционеров человек очень известный, но «никто» в смысле места работы и должности. Пенсионер, бывший заведующий библиотекой, и всё. И такие деньжищи прямо вот тут, в портфеле? Нет, страшновато. Да и в старинный и великий дачный кооператив «Наука и культура» такого точно не примут. Было неловко ему это объяснять, но пришлось, и он всё понял, мудро улыбнулся, а на прощание взгляделся в картинку на стене – приданое Риммы Александровны, пейзаж кисти Алексева, «русского Каналетто». Спросил: «Алексеев? – и сам себе ответил, кивнув: – Да, он, голубчик. Вполне чистокровный Алексеев...» – и на молчание Риммы Александровны, которое он принял за вопрос, сказал: «Нет, нет, сейчас не интересуюсь». Римма Александровна легонько фыркнула, а он еще раз улыбнулся и откланялся.

Это был апрель семьдесят пятого.

Алеша просил подождать. Хотя бы еще одно лето. Но Римма Александровна сказала что-то вроде «перед смертью не надышишься». А главное, объяснила она, дача – это платежи. Самое маленькое 250 рублей в квартал, с учетом газа и электричества. Проще говоря, тысяча рублей в год или даже чуточку больше. Отец имел некоторые льготы, у нас их нет. «Сын мой, – сказала она, – ты согласен платить тысячу в год? Ты можешь платить тысячу в год? Моей пенсии не хватит».

Алеша был аспирантом второго года – откуда такие деньги?

5.

Раньше Алеша ездил на дачу с друзьями и девчонками. Особенно с Сотниковой.

Сотникова была красивая. Высокая, золотоволосая, полная, белая, розовая. Носила так называемую грацию в свои двадцать лет. Знаете, что такое «грация»? Алеша не знал, пока не увидел. Это такая, что ли, комбинация лифчика и пояса для чулок, из белой эластичной ткани. Утягивать животик и бока. У Сотниковой, когда она раздевалась, было вполне рельефное пузико и сбоку по две складки на боках, но она не стеснялась. И в смысле пирожных и свежего белого хлеба *с толсто маслом* и сладким чаем – не стеснялась тоже.

Говорила: «Сделай мне хлеба с толсто маслом!» Но все равно была стройная, длинноногая, с узкими стопами, тонкими лодыжками и запястьями.

Первые свидания с Сотниковой: пустая дача, второй этаж, папина комната. Целовались, ласкались, тискались, трогались за все места. Сотникова подробно и сладко рассказывала, шепча, прижимаясь грудью и вцепившись в пальцы, – рассказывала, как *одну ее подругу* трахал вожатый в пионерском лагере. «Подругу, подругу! Конечно же, подругу», – в уме усмехался Алеша. Она была в СТО, спортивно-трудовом отряде, старше первого. Там, где уже девятый класс. Рассказывала, что перед этим она подсматривала, как он трахает другую вожатую. Еще Сотникова рассказывала, какие ей снятся неприличные сны. Но все равно не соглашалась. Часа три возились, а она ни в какую. Он спросил: «Ты что, девушка?» – «Неважно». – «Ну я же знаю, что не девушка». – «Неважно». – «У тебя ведь кто-то был!» – злился Алеша. «Неважно». – «Значит, был! Ты его, значит, *любила*? А меня, значит, *не любишь*? Что поделаешь, бывает! Ты не обязана меня любить. Но если ты меня не любишь, зачем сама, сама, своими руками раздеваешься до трусов, и валяешься со мной, и целуешься, и даешь везде трогать? Знаешь, как это называется?»

Сотникова заплакала. Встала с кровати, отошла к окну. Потом бросилась к нему. «Извини. Ну все, все! Давай в другой раз, обязательно, я обещаю! Обещаю!» – обняла его. Он

отбросил ее руки, отвернул лицо; она хотела его поцеловать в губы, он не дался. Она снова заплакала и сказала: «Ну ладно, раз ты такой. Ладно, давай сейчас».

Но ему уже совсем расхотелось. Напрочь, до злобы. Он сидел на кровати, оскорбленный, хмурый. Так и уехали с дачи вечером, даже не переночевали. Хотя, когда ехали сюда, собирались утром пойти гулять в лес.

– Не понимаю, – сказал Игнат. – Что они оба, с ума сошли?

– Было такое, – сказала Юлия. – В те времена. Я, конечно, не помню сама и помнить не могу. Но старшие товарищи рассказывали. Как бы по-умному сказать: сакральность вагины, что ли. При этом валяться и тискаться в голем виде – вообще ерунда. Даже еще смешнее, ты не поверишь: тогда считалось, что «минет не считается».

– В смысле?

– Ну как бы тебе объяснить... То есть, с одной стороны, минет считался страшным развратом, не то что сейчас – нормальный момент нормального секса. Были тогда мальчики и девочки, которые вообще этого не пробовали ни разу в жизни, а когда видели на картинке, у них дыхание перехватывало и голос садился. Это, значит, с одной стороны. А с другой стороны, были такие разговоры среди девушек: «Ты ему дала?» –

«Нет, не дала, только минет сделала». И парни тоже: «Все, ребята, порядок!» – «Дала?» – «Ну... Ну, да. В смысле минет». – «Э, нет! Это не считается!»

– Обалдеть. А может, залететь боялись, может, все просто? – спросил Игнат.

– Нет, нет, что ты! Нет, конечно, и залететь боялись тоже, но не в том дело. Тут было что-то священное, особое... Ну ладно. Дальше.

Через три дня Сотникова позвонила, пошли погуляли и, главное, точно договорились на следующую субботу. Собрались ехать вчетвером, вместе с соседом по дому Мишей Татарниковым, внуком академика и члена ЦК, и его девушкой по фамилии Дунаева.

Так получилось, что Алеша с этой Дунаевой приехал раньше, и они ждали Мишку, он должен был привезти Сотникову. Сейчас трудно вспомнить, почему так вышло. Наверное, Мишка освобождался у себя в институте позже – кажется, часов в пять, – и Сотниковой тоже было удобно выехать часов в пять-шесть, а у Дунаевой занятия кончались раньше, примерно в два часа, и она не хотела болтаться по городу, пока остальные соберутся, а Алеше, как всегда, было без разницы. Он как-то удивительно был свободен – в любой день и час. Хотя все успевал, в институте учился на пятерки и был комсорг группы и зам председателя факультетского СНО – студенческого научного общества. И дома успевал в

комнате убрать, рубашку погладить и иногда даже стготовить что-то поесть – не полный обед с супом и компотом, конечно, но макароны с сыром или даже мясное рагу – сколько угодно. То есть Алеше было чем заняться. Но при этом, когда ни позови – вот он я, всегда готов. Поэтому он встретил Дунаеву на вокзале, около касс на электричку, в половине третьего.

Дунаева была с филфака МГУ, изучала сербский язык. Где ее Миша Татарников выловил, непонятно. «Ненавижу технашек!» – говорил он. Впрочем, и Сотникова была тоже с не пойми какого психолого-педагогического факультета какого-то совсем задроченного областного института.

Приехали, попили чаю, мотались по даче в ожидании Мишки и Сотниковой, переходили из комнаты в комнату и присаживались то на диван, то на кресла. Дунаева достала из сумки книгу, села за стол. Алеша подошел поинтересоваться. Дунаева объяснила, что это книга научная, сугубо филологическая. Автор – Вук Караджич, знаменитый этнограф первой половины прошлого века. «Црвен Бан», сербский эротический фольклор. «Ух ты! – сказал Алеша. – Переведи что-нибудь!» Дунаева прочитала по-сербски: *«Девочница любичицу брала, убола е у пичицу трава, ние трава, вечь курчева глава!..* Не могу! Стесняюсь!» «А если стесняешься, зачем эту книгу вытащила?» – подумал Алеша, но сказал: «Ну хоть примерно! Описательно!» – «Девушка собирала фиалки, и ей травинка попала... ну, в общем, в одно

место... А потом оказалось, что это вовсе не травинка...» – засмеялась и покраснела. Алеша тоже покраснел, и положил ей руку на плечо, и почувствовал, как Дунаева вся дрожит мельчайшей дрожью. Ладонью ощутил бретельку лифчика, стал гладить ее плечо и спину, но она тихо и строго сказала. «Ты что! Я ведь Мишина девушка! – и стала повторять, почти по слогам: – Я девушка твоего друга! Твоего друга девушка!» – «Да, да, конечно, что ты! Извини, это я так, чисто по-дружески!» – и мельком подумал про Мишку и Сотникову: «Вдруг Мишка к ней сейчас пристает?». Похлопал Дунаеву по плечу, убрал руку и даже спрятал ее за спину на всякий случай – и тут вдали закрипела и стукнула калитка, не видная за широколиственными кустами.

Алеша страшно испугался, что вдруг Мишка приехал один.

Но тотчас же в оконной раме, как на экране, из мокрой зелени вышли две фигуры: Мишка в синей болоньевой куртке и серой кепке и рядом с ним Сотникова в ярко-красном, тоже болоньевом, пальто. С зонтиком. Большая, светловолосая и в очках. Все-таки красивая девочка – Алеша как бы со стороны на нее посмотрел и еще раз убедился. А Мишка был еще красивее. Похож на французского артиста. Алеше показалось, что Сотникова на него раз-другой как-то особенно покосилась.

Боже, приехали, счастье-то какое! Алеша расцеловал Мишку даже сильнее, чем Сотникову, – ее просто чмокнул

в носик, а его – троекратно, в обе щеки, в правую, левую и потом в правую еще раз. Мишка удивился таким нежностям, но в ответ крепко обнял его за плечи: «Привет, старичок! Здорово, дружище!» Алеша чувствовал нежнейшую благодарность Мишке, что он привез Сотникову. Хотя как он мог ее *привезти* или *не привезти*? Это же она сама решила приехать, а не он ее уговорил. Но все-таки Алеша боялся, что она лажанет. Не приедет на вокзал или сильно опоздает, и Мишка ее не дожидется и приедет один. «Он приедет один, и это будет ужас и кошмар, я буду жутко злиться, – мину-ту назад думал он, – буду злиться, что вот Миша на первом этаже трахается с Дунаевой, а я лежу в отцовском кабинете и держу руки поверх одеяла!» Ну а раз они приехали вдвоем, то злиться не надо, все прекрасно, и вот Алеша расцеловал своего дорогого друга, стал помогать Сотниковой снять пальто, и повесил его сушиться над батареей, и усадил ее на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, – это было как раз в холле перед вешалкой, стащил с нее сапоги и подал ей тапочки, и она была, кажется, растрогана, смущена и убла-готворена.

Пошли перекусить на кухню. Тем временем дождь кон-чился, облака разошлись. Решили пойти гулять, тем более что Дунаева все время бухтела: «Приехали на дачу, а возду-хом не подышали». Ну вот тебе воздух! Дошли до речки, там был искусственный остров с беседками и к нему два мости-ка, очень красиво. На острове удил рыбу один бесфамиль-

ный академик, кажется, военный химик, но никто точно не знал. Он сидел на раскладной табуретке. В небольшом отделении стоял его адъютант.

Начало темнеть. Вернулись на дачу. Мишка достал из портфеля бутылку итальянского вермута. Выпили по рюмке. Мишка минут через пять начал зевать и поглядывать на часы. «Ой, – говорил он, потягиваясь, – как-то я устал. И вообще спать пора. Завтра рано вставать». Хотя завтра было воскресенье, никуда никому не вставать. Просто ему не терпелось. «Добрый хозяин! Где ты нас, бедных сироток, спать уложишь?» – спросил Мишка. Дунаева достала из сумочки несессер и пошла чистить зубы. Алеша сунул Мишке сверток белья и пихнул в свою комнату – на даче у него была большая комната, не то что в Москве, каморка для служанки в огромной квартире; он все время об этом вспоминал.

На улице была почти ночь, но небо было еще серое, светились по верху деревьев; они с Сотниковой были на втором этаже, в той же самой комнате, папиной. Она раздевалась, как в кино, красивым контуром на фоне окна. Сняла свою грацию, какой-то смешной звук раздался – это резиновые подвязки от чулок хлопнули по ее животу, наверное.

Он ее обнял, уложил в постель, и она прошептала: «Я девчонка». – «Вижу, что не мальчишка», – ответил он, поглаживая ее живот и ниже. «Я девчонка», – повторила она и захныкала. «Зачем такое слово? Почему не сказать просто “девушка”», – подумал Алеша, а вслух громко вздохнул: «Ну

вот, опять...» – «Принеси полотенце», – шепнула она. Господи. Алеша встал, надел джинсы на голое тело, в темноте сбежал вниз, где ванная, чуть не подвернул ногу на лестнице, вернулся через полминуты: «Держи». Снова лег к ней, обнял. «Зажги свет», – вдруг сказала она. «Зачем?» – «Зажги! Я хочу, чтоб ты смотрел мне в глаза, когда меня берешь в первый раз. И чтоб я видела твои глаза, как ты на меня смотришь. И чтоб ты видел, что я вижу, как ты смотришь на меня!» Господи, твоя воля. Он нашарил в изголовье бра, дернул за шнурок с шариком. Увидел остановившиеся, впившиеся в него глаза Сотниковой, которые оказались совсем маленькими, потому что она была без очков. Господи, ему уже почти расхотелось, у него уже все было не так сильно, как десять минут назад, но он все-таки все сделал. Это был не секс, а какая-то игра в гляделки, и, конечно же, она была ни капельки не девушка.

Он опрокинулся на спину, она положила голову ему на плечо.

– Ты, конечно, не мальчишка, – сказал он. – Но уж не девчонка точно.

Она промурлыкала что-то ласковое, потерлась носом о его шею.

Он поцеловал ее в макушку и все-таки спросил:

– Зачем ты это?

– Мне так показалось. Я так в тебя влюбилась, что мне показалось, что ничего у меня раньше не было и я как будто

девушка опять.

Ну, раз так, то все прекрасно. Может быть, это любовь. Может быть. Все может быть.

6.

Так что Алеша просил маму подождать с продажей дачи. Хотя бы еще одно лето. Хотя Сотниковой уже не было. Он ее предал. Бросил по требованию коллектива. Пошел на поводу у компании. Там все дети и внуки министров и академиков, а она из не пойми какой семьи. Из другого инкубатора. Ребята ему сказали прямым текстом: *«Слушай, Лешка, тут вот какое дело... Извини. Пойми правильно. Девочка твоя, она, конечно, хорошая, красивая и умная, но ты к нам ее больше не приводи... Не наша. Ты не обижайся, ты цени откровенность»*. Ужасная история. Сотниковой не было, но уже появилась Лиза. Он с ней так и не съездил на дачу, ни разу.

– Подождать еще одно лето, а это еще деньги платить, – сказала Римма Александровна. – Посчитай-ка, сколько. А там и осень, плохое время для въезда в новый дом. А они как раз хотят сразу въехать, чтобы уже летом жить.

Они – это покупатели. Главный режиссер одного московского театра. Главная интеллигентская знаменитость эпохи. Благородное, но вместе с тем простецкое, мужицко-солдат-

ское лицо. Седой чубчик, сигарета без фильтра и кепка. Борьба с цензурой, с Главлитом и Агитпропом, современное прочтение классики, спектакли *с подтекстом*, которые запрещались после генеральной репетиции, а бывало, прямо во время представления! Антракт – и все, второго действия не будет! Легендарные двухнедельные запои, подписи под всеми воззваниями и петициями, триумфальные гастроли в Европе, скандальные интервью, мемуары в машинописном самиздате под псевдонимом, но и Госпремии, и ордена к юбилеям, белая «Волга» с шофером, приятельство с маршалами и секретарями ЦК КПСС – и вот теперь, значит, будет у него еще и дача в таком роскошном месте.

Пятьдесят пять тысяч – заломила Римма Александровна.

Переговоры шли с его супругой. Сговорились на пятидесяти. В день оформления документов эта мадам привезла сорок восемь. Тогда было попросту – из рук в руки или «сберкнижка на предъявителя», что-то вроде чека. Мадам привезла сорок восемь. Прикусила губу и сказала: «Простите, но у нас больше нет». Разговор шел с глазу на глаз. Мама рассказала об этом через неделю. Алексей возмутился: «Почему ты меня не позвала свидетелем? Да я бы выгнал к черту! С лестницы! Жлобы. Интеллигенты вонючие! Артисты, одно слово! Ну или вот так... – Он вдруг сообразил, как надо было поступить – вежливо, без скандала. – Денег нет? Двух тысяч не хватило? Ничего страшного! Пишите долговую расписку! Сейчас нет денег – отдадите потом, я могу подождать!»

Римма Александровна смотрела, не понимая. Потом ее будто озарило. «Боже! Конечно! Какой ты умный! Какая я дура! Какие они сволочи! Конечно! Сейчас, немедленно!» – схватилась за телефон, рванула трубку, стала листать записную книжку, оттуда вылетали бумажки с фамилиями и номерами, она никак не могла найти нужный. «Погоди, – Алексей отнял у нее трубку. – Вы уже все подписали?» – «Да, все подписали, нотариус мне все отдал, все бумаги у меня, вот, смотри». – «Тогда не смейся народ. Все, ушел поезд. Ничего. Не обеднеем. Но пусть им эти две тысячи боком выйдут. Пусть они ими подавятся! Пусть они лопнут!» Он это так отчетливо сказал, с такой непонятно откуда взявшейся ледяной злобой сказал, что Римма Александровна даже испугалась, взяла его за руку, погладила: «Ну что ты, Алешенька, успокойся».

Потом был разговор о наследстве. Завещания не было. Алеша на наследство не подавал. Мама ему еще прошлой осенью сказала: «Здесь и так все твое». Но все-таки он спросил:

– А мне из этих сорока восьми тысяч что-то принадлежит? Все-таки я сын своего отца, разве нет?

– Принадлежит, – после краткой паузы сказала Римма Александровна. – По закону наследство делится вот как. Половина принадлежит мне, это моя часть совместно нажитого имущества. А вторая половина делится между наследниками, включая меня. Ты не подавал на наследство. Повел себя

как благородный человек. Но я, разумеется, не стану наживаться на твоём благородстве, – чеканила она. – Ты же мой сын. И ты получишь то, что тебе полагается по закону.

Ага. Алексей-то поначалу думал, что сумма пополам: половина маме, половина ему, то есть ему достанутся грандиозные двадцать четыре тысячи. Но нет. Сорок восемь пополам и ещё раз пополам. Двенадцать. Тоже, кстати, ничего.

– То есть двенадцать тысяч? Четверть?

– Почему четверть? А Тоня? У тебя есть сестра, дочь твоего отца. Тонечка меня, мягко говоря, не любит. Тонечка не подавала на наследство. Но есть же какие-то понятия о приличиях! Я отдам ей одну шестую. Тебе и ей. По восемь тысяч рублей.

Ну ничего. Восемь тысяч – тоже серьёзные деньги.

7.

Почему он обо всем этом замечтался, стоя перед автоматной будкой и глядя на жухлый московский газон? Да. Все началось с травы. Трава. Дача. Веранда. Сотникова. Дачу продали. Жалко. Жил бы сейчас с Сотниковой на даче, за грибами бы ходили.

Очень не хотелось звонить Ярославу и вообще всего этого не хотелось.

Алексей зашел за угол и позвонил из автомата. На секунду стало беспокойно – ведь его как-то, пусть даже по пя-

тому или седьмому разряду, но все-таки охраняют, а значит, наверное, и следят. Послеживают. Ну а что он такого страшного и неположенного делает? Позвонил по прямому, сразу в кабинет. По прямому ответа не было. Может быть, прямой телефон в кабинете начальника Управления с уличным автоматом не соединялся? Алексей не знал этих тонкостей. Вернее, знал, но забыл. Если это так, то это неправильно. Можно поставить прослушку, но заблокировать нельзя: мало ли кто и по какому делу может позвонить товарищу генерал-полковнику? Ну ладно, пусть они сами разбираются. Тогда он позвонил в приемную. «Дежурный!» – «Перегудов. Демидыч приехал?» – вот так, с необходимой долей начальственной фамильярности. Помощник неожиданно сказал: «Соединяю». Но Ярослав не взял трубку. Помощник сказал: «Минуточку, Алексей Сергеевич», и Алексей услышал, как помощник – Алексей его узнал по голосу, майор Касаткин, он уже лет пять сидел в приемной, – услышал, как он позвал Демидыча по громкой связи, ответа не было. Майор – слышал Алексей – встал из-за стола, постучал в дверь – Алексей помнил эту дверь, ореховый короб на кремовой стене, – постучал, потом открыл дверь – быстрые шаги, и крики, и топот. Наверное, минут двадцать, а то и полчаса, упершись коленкой в пыльное стекло автоматной будки, Алексей слушал, как бегают люди, вызывают «скорую», как приехала «скорая» – кажется, он даже слышал ее сирену вдали, где-то там, слева, в конце длинной и скучной улицы, обсажен-

ной грубо подстриженными тополями, – потом опять шаги, крики, звонки, и потом майор Касаткин вспомнил про лежащую на столе трубку – телефонов-то на его столе было много, штук десять самое маленькое, – заметил лежащую трубку, забыл, наверное, кто звонил, взял трубу и снова сказал: «Дежурный!» – «Перегудов!» – сказал Алексей. «Алексей Сергеевич, извините. Товарищ генерал-полковник скончался».

Алексей повесил трубку и вдруг увидел, что двухкопеечная монета не провалилась в щель, то есть в такое узенькое плоское приспособление наверху телефонного аппарата. Он забрал ее, вышел из будки, а потом с ногтя пустил ее лететь вбок, на дорогу. Мимо как раз проезжал грузовик, и он не расслышал тонкого теньканья монетки об асфальт. Но услышал нечто другое, очень важное: как будто голос какой-то ему сказал: «Ярослав Диомидович тебя, сукина сына, третий раз спас. Первый – когда назначил тебя начальником КБ Ланского. Спас от неизвестности и заурядности, от изматывающей карьеры молодого-талантливого, когда все верхние этажи забиты бодрыми крепкими стариками со звездами и званиями. Второй раз – когда не дал Бажанову выкинуть тебя из проекта, спас от провала и дальнейшего прозябания в неопределенности. И вот в третий раз своей смертью тебя, подлеца, спас. Ты не стал стукачом, доносчиком, то есть мразью, выродком, куском дерьма собачьего».

«Но ведь отец спас Ярослава Диомидовича, когда Сталин собирался его расстрелять?» – полувопросительно возразил

Алексей своему внутреннему голосу. «Неужели это голос со- вести?» – тихо рассмеялся он.

Поэтому Алексей вытащил из бумажника этот самый ли- сток, где были записаны контакты Бажанова с какими-то иностранцами в Фарнборо, разорвал на мелкие кусочки, за- жал в кулак и посмотрел, куда бы выбросить. Вдоль тротуа- ра был газон, на нем – куча подсохшей глины и рядом – раз- рытая канава. Три слоя – темная почва под травой, ярко-бе- жевая глина, а внизу песочек, на котором лежала какая-то не слишком толстая труба. Алексей огляделся: кругом нико- го не было; он бросил эти бумажки вниз, они взметнулись и осели на дне.

Повернулся, быстро дошагал до машины, велел ехать на- зад.

«Наверное, – думал сам про себя Алексей – я просто всего этого не осознал».

Когда умер отец, было примерно так же.

Приехали с похорон домой, прошли сразу на кухню, Лю- бовь Семеновна – она тоже была на похоронах, разумеется – тут же вскипятила чай, и захотелось позвать отца. Отец по- чти все время просиживал в кабинете. Особенно когда рабо- ты не стало, когда его вывели за режим, а потом на пенсию.

– Почему министра Перегудова вдруг вывели за ре- жим? – спросил Игнат.

– Какая-то история с английской аппаратурой, –

сказала Юля. – Но я в это не верю. И вообще, давай эти детективные линии сразу отбросим.

– Давай. Ладно. Ты хозяйка текста. Хотя интересно, конечно.

– Ничего интересного. Мутная история. Так что не надо.

Отец все время сидел в кабинете и *приводил в порядок свои записи*, как он выражался.

И вот Алеша с мамой и какими-то родственниками пришли с кладбища домой, и захотелось крикнуть через всю квартиру: «Пап! Хватит мемуарить, приходи чай пить!» Слава богу, не крикнул, а то бы мать прямо тут бы умерла, она еле вынесла похороны, она чуть не падала, ее под руки держали Ярослав Диомидович и еще какой-то человек, Алексей сначала подумал, что это Фесенко из КГБ, генерал в штатском, он был куратором отцовского министерства, но оказалось – муж маминой кухни. Мама очень любила эту семью: смешная Любовь Семеновна – это как раз его сестра, одинокая дамочка.

Не осознал – значит не осознал.

Когда осознаю, тогда и разрыдаюсь, сам себе сказал Алексей. А сейчас он для меня – да и для всех! – живой пока. Некролог будет послезавтра самое раннее, а то и во вторник. Ах, как неудобно умирать в пятницу, особенно когда ты генерал-полковник, членкор АН СССР и начальник МУСР,

Межведомственного управления специальных разработок. Ведь надо согласовывать подписи под некрологом. «Это уровень Политбюро? Не уверен, – суетно подумал Алексей. – Хотя, конечно, Устинов подпишет, Романов подпишет, еще пара-тройка секретарей ЦК и зампредов Совмина подпишут. Интересно, будет ли упомянут МУСР в некрологе? Наверное, нет. Просто укажут: выдающийся ученый и организатор промышленности, а вражеская разведка, сопоставив подписи, тут же поймет, чем занимался покойный генерал».

Но пока Ярослав Диомидович еще как будто жив...

Еще как будто.

Тем более не надо этих сплетен.

8.

– Чушь, чепуха и вранье! – повторил Алексей, глядя Генриетте Михайловне в глаза, стараясь не моргать и не морщиться.

– Понятно. Чушь, и слава богу. Просто, Алексей, я в твоём возрасте тоже помогала одному большому человеку писать статьи.

– Почему «тоже»? – не упустил ответно придраться Алексей; ведь Генриетта Михайловна полминуты назад придралась к его «уже» – вот он и спросил: – При чем тут «тоже»?

– Ни при чем, ни при чем, – закивала Генриетта Михайловна.

– Вы ему помогали, и что?

– Что – что?

– Что он вам за это?

– О, много чего, – засмеялась она. – Поток благодеяний!

Раздался звонок в дверь.

– Это Оля? Давайте я открою?

– Сиди!

Алексей подошел к окну, оперся на подоконник, вытащил из бокового кармана блокнот, а из нагрудного – карандаш. Генриетта Михайловна пошла открывать. Слышно было, как Оля сказала: «Мам, ты сумку разбери». Вошла. У нее в руках был букет цветов. Увидела его, обернулась:

– Мама, а у нас Алеша, оказывается.

А с ним не поздоровалась.

Следом вошла Генриетта Михайловна с пластиковой сумкой.

– Генриетта Михайловна, – сказал Алексей, показав ей страничку в своем блокноте. – Вот это, вот это – бред?

– Минутку. – Она поставила на стул сумку, достала из кармана фартука очки. – Где? – взяла блокнот у Алексея.

– Все-то вы гения из себя корчите, Алексей Сергеич! – сказала Оля.

– Ох уж мне эти колючие подростки! – Он рассеянно прикоснулся к букету, который Оля держала в руках, но сам во все глаза смотрел на Генриетту Михайловну.

– Не знаю, – сказала та, глядя в блокнот. – Не знаю, не

знаю. – Она закрыла блокнот. – Интересно. Но как-то слишком принципиально, что ли. Боюсь, ты слишком увлекся общими подходами, отсюда все твои проблемы.

– Вот именно! Отсюда все проблемы, и не только мои. Иначе мы всю жизнь будем проводки паять по чужим схемам.

– Верно. – Она отдала блокнот Алексею. – Но опять же, только в принципе верно. А в частности – ты не смеешь забывать, что у тебя люди в подчинении, им тоже хочется, чтобы у них получалось. Им нужна работа с ощутимыми результатами, нужны премии за внедрение, если угодно. Потому что у них есть семьи, жены и дети. И не только деньги! Есть самолюбие, наконец. Творческое самолюбие есть не только у тебя – у самого младшего мэнэеса тоже! Где результаты? Впрочем, тебе виднее...

– Вот именно, – сказал он мрачно, спрятал блокнот в карман и уперся кулаками в стол, опустив голову.

– Мама, ну хватит его ругать! – сказала Оля. – А то он весь уже согнулся под грузом ответственности!

– Славный ты человек, Ольга! – Он выпрямился. – Что бы я без тебя делал, под этим самым грузом... – подошел к ней, погладил по плечу, склонился к букету, понюхал: – Роскошные розы! Кто ж это в наш практический век дарит девушкам такие букеты? Какой-то дурак дарит – опять шесть штук.

– Алеша, ты что?

– То самое. Алексей Сергеевич в своем репертуаре, – улыbnулась Генриетта Михайловна.

– Вот тут читатель, – сказала Юля, – по этим странным репликам, по ответам невпопад, по четному числу цветов в букете начинает догадываться, что там какие-то семейные тайны и что эти тайны связаны с датой смерти министра Перегудова. Но Алексей не обращает на это внимания. У него в голове сплошные решетки Вигорелли.

– А эти решетки, – спросил Игнат, – на самом деле так называются?

– Не совсем, – сказала Юля. – Другая фамилия, слегка похожая. Неважно.

– Мама! – закричала Оля. – Может быть, хватит?

– Помолчи! – Генриетта Михайловна схватила ее за руку, другой рукой подхватила со стула пластиковую сумку, сунула Оле и вытолкнула ее из комнаты. – Разденься! Цветы поставь. Ваза в кухне, в шкафу.

– Не обращайтесь внимания, Генриетта Михайловна, – сказал Алексей. – Переходный возраст. Может, я не вовремя?

– Нет, нет, ты всегда вовремя! – закричала Оля из коридора. – Сейчас я на стол накрою. Посидим. Выпьем.

– Ого! – сказал Алексей. – Дети-то взрослеют. Выпьем, думаешь?

– Уверена. – Она вошла с бутылкой вина, поставила ее на стол. – Выпьем, поговорим.

– Ольга! – возмутилась Генриетта Михайловна. – Алексей зашел ко мне по делу!

– Да, именно. Я пришел, чтобы тебя позвать...

– В гости! – перебила его Генриетта Михайловна. – В гости к Римме Александровне!

– Не совсем в гости. Сегодня, Оля, десятая годовщина смерти моего отца.

– Я знаю, – сказала Оля. – Знаю, знаю, все я знаю... – Она остановилась перед Алексеем, поглядела на него. – Нужно, наверное, сказать какие-то слова. Что я должна сказать? Соблезнование – не подходит.

– Не подходит, – кивнул Алексей. – Нужно сказать: «Я с тобой в этот день».

Оля быстро и зло взглянула на Генриетту Михайловну и сказала:

– Я с тобой в этот день, Алеша. Поехали.

– Ольга, ты в своем уме? – сказала Генриетта Михайловна.

– В своем! В своем собственном! – Она взяла со стола бутылку. – Поехали.

– Тьфу! – сказала Генриетта Михайловна.

Алексей неожиданно для самого себя повысил голос:

– Может, я на лестницу выйду?! Пока вы тут отношения довыясните?! Просто напасть какая-то – куда ни сунься, отношения выясняют! Простите.

Генриетта Михайловна подошла к нему и сказала:

– Это ты меня прости, Алеша. Езжайте, ребята. Римме Александровне привет.

Оля протянула бутылку Алексею:

– Возьмем?

Он посмотрел на этикетку, улыбнулся:

– Нет, не надо. Сама покупала? – Оля кивнула. – Когда ты вырастешь, и я, даст бог, жив буду, научу тебя разбираться в напитках... Пошли.

– Ольга, ты только не поздно, – сказала Генриетта Михайловна.

– Я ее провожу, не волнуйтесь. Сдам вам с рук на руки. В крайнем случае посажу в такси, записав номер машины и фамилию шофера. До свидания.

– Пока, – сказала Оля и поцеловала Генриетту Михайловну в щеку.

– Что он в ней нашел, непонятно, – сказала Юля.

– Кто? – спросил Игнат. – Алексей в Оле?

– Не торопись! – сказала Юля. – Я про Генриетту и министра Перегудова.

Что он в ней нашел, в самом деле? Тогда она была только что моложе, а так – точно такая же, как сейчас. Худая, смуглая, черная. А он любил. Хотел уйти к ней сразу, еще до Оли, а когда Оля родилась – и подавно. Измучил ее. Но она не

могла, чтоб он бросил жену и ребенка. Жену его было жалко. Она-то была кандидат наук, доцент, а Римма – красивая женщина и более ничего. Генриетте казалось, что это подло. Жил человек с женой, сына воспитывал, прошел славный путь от курсанта училища связи до министра специального приборостроения, и вдруг на тебе, явилась черноглазая... Ей было стыдно на себя смотреть. И она сказала: уходи, вон отсюда, всё, ты мне не нужен, я тебя не люблю, не люблю, не люблю. Потом он находил предлоги видеться. Сугубо деловые предлоги. И – присылал деньги. Однажды Оля нашла эти деньги. Генриетта врала, изворачивалась, как девчонка, а Оля пристала: купи мне дубленку, купи, не жадничай, вон у тебя сколько денег, оказывается! Разве объяснишь? Разве она поймет, что это за деньги? Дубленку, однако, пришлось купить. Дабы не вдаваться в лишние подробности. Хотя Оля знала, кто ее отец. Кажется, ей было уже лет тринадцать, когда она узнала. Генриетта ей сама сказала, когда она стала уж очень заглядываться на Алексея. Алексей к ним часто приходил домой, диплом, диссертация, просто поговорить, и Оля прямо млела. Пришлось сказать: «Это твой брат по отцу, так что выброси из головы».

«Наверное, – думала Генриетта Михайловна, – я все-таки дура. Надо было уводить. То есть не уводить, а просто уступить его настояниям. И все было бы иначе – и в моей жизни, и в Ольгиной. Да и в его жизни тоже, наверное. Может, был бы жив и сейчас».

– Так что вот, – сказала Юля, – если бы Генриетта, как она выражается в своих мыслях, *уступила бы его настояниям*, то ничего страшного бы не случилось.

– Здравсьте! – возразил Игнат. – Римма Александровна спилась бы, наверное. Или, хуже того, вышла бы замуж за какого-нибудь бессмысленного дурака рангом в три раза ниже, чем Сергей Васильевич. Алеша тоже не стал бы важным человеком...

– Ну и что? Стал бы, не стал бы... Никакой разницы. Римма бы не пропала, а Алеша все равно не дослужился бы до генерального конструктора. Впереди девяностые годы, развал военной промышленности.

– Ну допустим, – сказал Игнат. – Но вообще странный поступок. Такой человек зовет замуж, а она рассуждает на темы морали. А может быть, она его на самом деле не любила. То есть, конечно, любила, но не так.

– Беда современной молодежи в том, – сказала Юля, – что она перестала понимать странные поступки. Все как-то слишком понятно. По системе «дай-возьми», и это грустно.

– А тебе-то сколько лет? – засмеялся Игнат.

– Бывает, что буквально пять или пятнадцать лет разносят людей по разным поколениям, – важно заявила Юля.

– Ты старше меня на пятнадцать лет?

– Я пошутила, ты что, – сказала она.

Игнат стал пристально ее рассматривать, но так ничего и не понял. Вообще-то он знал почти точно, что ей тридцать или тридцать два, то есть она старше его всего на пять лет. Но иногда ему казалось, что ей черт знает сколько, чуть ли не шестьдесят. А иногда – что они ровесники или она даже младше, как будто первокурсница.

9.

Тем временем Алексей и Оля на такси подъехали к дому Риммы Александровны. Алексей расплатился с шофером, помог Оле выйти, и через две минуты они уже входили в комнату с накрытым столом. Любовь Семеновна своим трагическим голосом воскликнула: «Ой, кто к нам пришел!» – хотя она вряд ли узнала Олю. А удивляться Алексею тем более было незачем, но уж такая у нее была манера. «Ой, кто к нам пришел!» – громко и пискляво повторила она, как будто в колокольчик позвонила, и тут же из смежного с гостиной кабинета вышла Римма Александровна и остановилась между дверью и столом.

– Здравствуйте, – сказала Оля.

– *На чужой сторонушке рад своей воронушке!* – сказал Алексей. – Вот, мама, это Оля Карасевич, дочка Генриетты

Михайловны.

– Зачем эти народные прибаутки? – пожалала плечами Римма Александровна.

– А ведь и в самом деле? – спросил Игнат. – Зачем все эти народные прибаутки?

– А он такой, – сказала Юля. – Чучело гороховое. То есть пугало огородное. Игнаша, ты видел настоящее огородное пугало?

– Видел, – сказал Игнат. – Один раз. Из окна электрички. На сто пятом километре поезда Москва – Тверь.

– Ого. А что ты делал в Твери?

– Я там диссертацию защищал. Встречался с научным руководителем. Профессор Губман, есть там такой философ.

– Борис Львович?

– А ты откуда знаешь?

– Я все знаю, – сказала Юля. – Давай дальше.

– Мама, это Оля Карасевич, – повторил Алексей. – А Генриетта Михайловна, к сожалению, неважно себя чувствует.

– Да, – сказала Римма Александровна. – Да, да. – Помолчала и протянула руку. – Здравствуйтесь, Олечка.

– Римма Александровна, – начала Оля, пожимая ее руку. – Я в этот день, Римма Александровна, в этот печальный день,

я хочу сказать...

Римма Александровна совсем по-мужски встряхнула Олину руку и освободила наконец свою ладонь из ее пальцев.

– Садитесь, Оля! – сказала она, как учительница восьмикласснице. – Алеша, усади Олечку. Вот сюда. Я рада, что вы пришли. Любовь Семеновна, положите Олечке закусить.

Во главе стола стояла тарелка, на ней – стопка водки, накрытая куском хлеба. В маленьком подсвечнике горела свечка. Римма Александровна села справа от этого алтаря; рядом с ней поместился Алеша. Оля оказалась напротив них. Любовь Семеновна сидела по той же стороне, что и Оля, но через один стул. Она стала накладывать Оле салаты и ветчину.

– Спасибо, как много, что вы... – бормотала Оля.

– Люди меняются, Олечка, забывают всё, – сказала Римма Александровна. – А как любили друзья наш дом, когда был жив Сергей Васильевич!.. А теперь – всё. Забыли.

– Ма-а-ама! – сказал Алексей.

Римма Александровна отмахнулась от него и продолжала:

– Я, Олечка, немногих позвала. Знаете, уже тех позвала, в ком уверена была, что придут. И что же? – засмеялась она. – Опять просчиталась! Просчиталась в козырях!

– Мама, давай лучше поедим, – сказал Алексей.

– Люди злы, моя девочка, – продолжала она, обращаясь к Оле. – Они не помнят добра, они на добро отвечают злом, они звери...

– Не обижайте зверей, Римма Александровна, – кротко

улыбнувшись, ответила Оля. – Звери не умеют злиться.

– Да нет, я не в том смысле, Олечка. Хотя почему же? Именно в том. Чтобы разозлиться, надо быть личностью. А эти просто кусают, просто грызут тех, кто рядом. Они не злятся, они просто едят то, что съедобно. Единственное, что их отличает от настоящих зверей, – у них нет внутривидового самосохранения. Они грызут себе подобных. И в этом смысле вы правы. В этом смысле настоящие звери, которые мохнатые и с когтями, они, конечно, лучше. А между прочим, одного из них Сергей Васильевич перевел в Москву из Харькова. Другому дал целый институт – твори, работай. Третьему... да что тут считать! За одного бракодела перед Иосифом Виссарионовичем заступился, вы понимаете, Олечка? Добился личного приема у Сталина, добился разговора с глазу на глаз со Сталиным, чтобы друга спасти, вы понимаете?

– Да, Римма Александровна, – вздохнула Оля

– Все всё понимают, – сказал Алексей. – Давайте лучше...

– А он утречком заскочил на минутку, отметился, оказал уважение! Даже машину не отпустил! А потом не пришел!

– Что? – спросил Алексей и чуть не вскочил со стула. – Ярослав Диомидович был утром? В котором часу? Почему ты мне не сказала?

– Потому что он обещал прийти вместе со всеми гостями.

– А... а о чем вы разговаривали?

– О тебе! – засмеялась Римма Александровна. – Олечка,

и вот такое отношение. Заскочил на пять минут и был таков. Не помнит, что, кабы не Сережа, его бы не было. Понимаете, Оля, – не было.

– Что? – спросил Алексей.

– То! Не было бы! – оскалилась Римма Александровна.

– Нет! – сказал Алексей. – Обо мне говорили? Что же он обо мне говорил?

– Какая тебе разница? – спросила Римма Александровна. – В сотый раз рассказал мне, какой ты умный и что твоя голова – государственная ценность. Что тебя беречь надо. Дурак старый.

– Что?

– То! – Она оскалилась еще сильнее и снова повернулась к Оле. – Его бы не было. Он превратился бы, пардон за изящную словесность, в горстку лагерной пыли. Вам, Олечка, этого просто не понять, ну и слава богу. Ходит, понимаете ли, весь в погонах, в орденах. А у Сергея Васильевича орденов не меньше. Хотите, покажу?

– Ма-ма! – Алексей чуть не застонал.

– Да, Римма Александровна, – сказала Оля. – Покажите, пожалуйста.

Римма Александровна пошла в кабинет.

– Ну-с, мадемуазель, что будем пить? – обратился Алексей к Оле.

– На твое усмотрение.

– Смотря как будем пить, – сказал Алексей. – Если поне-

множку и смакуя, то «Манавис Мцване». Или «Зедаше». А если по-византийски, по-грузински, то рекомендую «Напареули». Ну, что?

– «Шато-Икем», – сказала Оля.

– Ого! Эрудитушко! Откуда знаешь?

– Читала.

– Люблю молодежь, она всегда умеет этак огорошить...

Мама! У нас есть «Шато-Икем»? Нет у нас «Шато-Икему».

Так что выпей «Мцване», – и налил ей.

– Ты что там кричал? – Римма Александровна вошла, держа в руках генеральский китель. – Вот, Олечка, глядите. И при этом он всегда ходил в штатском.

Она передала китель Оле, та осторожно положила его себе на руку, погладила лацканы, потрогала колодки.

– Это какого ордена ленточка?

– Ленина. А это Трудового Красного Знамени.

– Ну все, все, поглядела, – сказал Алексей, пытаясь забрать у Оли китель

– Погоди. А это?

– Это? Это не наш, – ответила Римма Александровна. – Это польский. «Крест Грюнвальда». Сергей Васильевич воевал в Польше. Наградили, естественно, потом, когда он уже стал министром.

Алексей отобрал у Оли китель, повесил его на спинку свободного стула.

– Может быть, сюда? – сказала Любовь Семеновна, пока-

зывая на стул во главе стола, перед пустой тарелкой с рюмкой водки, хлебом и свечой.

– Не надо! Слишком символично, – сказал Алексей, подняв бокал.

– Будешь тост произносить? – спросила Римма Александровна.

– Нет, нет, тосты произносит самый младший. Он же открывает дверь, режет хлеб и бежит за водкой, когда она кончается.

– Хватит!!! – закричала Римма Александровна. – Замолчишь ты или нет? Чучело!

– Молчу. Ольга. Тебя ждем.

Оля встала, взяла бокал.

– Давайте выпьем... Ой, я пролила.

– Я виноват, налил с горкой, – сказал Алексей.

– Пустяки, пустяки, Олечка, ерунда, – успокоила Римма Александровна.

– Давайте выпьем за вечную память, – сказала Оля, – за вечную память Сергея Васильевича Перегудова, выдающегося ученого, организатора науки и промышленности и прекрасного человека.

– Не чокаются, – предупредила Римма Александровна.

Алексей выпил, прожевал и спросил:

– А откуда ты знаешь, какой он человек?

– Ну, Леша! – одернула его Римма Александровна.

– Не люблю официальной скорби. – Он говорил с набитым

ртом. Получилось под Брежнева; Брежнев к тому времени уже два года как умер, так что передразнивать его было совсем безопасно и даже приятно.

– Я была с Сергеем Васильевичем неплохо знакома, – сказала Оля.

– Вот как? – Римма Александровна сощурилась.

– Да, так.

– Но ты ведь девочкой была, когда он умер, крохой была. – Римма Александровна вдруг перешла на «ты». – Тебе лет десять было!

– Двенадцать. Не такая уж кроха.

– Где же вы встречались?

– Он приходил к нам. К маме, с какими-то бумагами. То ли приносил какие-то бумаги, то ли забирал, не помню. А может быть, и то и другое. Что-то приносил, что-то забирал.

– А с тобой разговаривал?

– Да.

– Что говорил?

– Не помню. Наверное, и не говорил ничего особенного. Так. Брал на руки. Сажал на колени. Целовал. Шутил.

– Он тебе дарил что-нибудь?

– О да! – серьезно сказала Оля. – Конечно, дарил, а как же! Кольца с бриллиантами. Брошки, тоже с бриллиантами. И серьги. С изумрудами. И прочие драгоценности, и еще меха, дорогая Римма Александровна! Также дачу в Барвихе, кооператив на «Аэропорте» и автомобиль «Жигули» третьей

модели, знаете, дурацкий такой дизайн, много никеля...

Римма Александровна в ответ светски улыбнулась.

– Еще конфеты. Шоколадные наборы. Такие красные с золотом коробки. Там была такая шоколадная, в золотой бутылочке, бутылочка с ромом. Он ее вынимал и отдавал маме. Говорил: «Это Оле нельзя, это детям вредно».

– Сергей Васильевич очень любил детей, – сухо сказала Римма Александровна.

– Да. Я это чувствовала. Я же говорю – замечательный человек.

– Ольга, ты почему не ешь? – сказал Алексей. – Закусывай давай.

– Да, Алеша, поухаживай... Любовь Семеновна, положите что-нибудь Олечке.

– Спасибо, у меня много.

– Олечка, а как вообще ваши дела? Вы еще учитесь? Или уже окончили? Вы, наверное, курите? Закуривайте, не стесняйтесь. Сергей Васильевич курил, дымил на весь дом и даже Алешке разрешил с восемнадцати лет, но Алеша не стал. Возможно, потому, что было разрешено. Можно было у папы взять хорошую папиросу и закурить... Сергей Васильевич был хороший педагог! Он курил папиросы «Герцеговина Флор», как сами знаете кто. Но у меня есть сигареты, импортные, «Уинстон». Любовь Семеновна, принесите Олечке сигареты, в кухне, в комод, где чай...

– Спасибо, я не курю, – отказалась Оля и ответила на

предыдущий вопрос: – Я на четвертом курсе.

– Прекрасно, прекрасно. Простите, я не помню, вы по маминым стопам?

– Диаметрально по другой части! – сказал Алексей.

– Ах, по другой части... Диаметрально? Забавно, что там диаметрально противостоит антеннам?

– В Строгановском училище, – сказала Оля. – Скульптор малых форм.

– Это что, всякие статуэтки?

– Да. Еще значки, медали и ювелирные изделия.

– Откуда такой выбор?

– На маму глядя! Подъем в шесть тридцать, институт аудитория кафедра лаборатория библиотека дома в полвосьмого и надо еще к лекции подготовиться – и вот так еже-боже-дневно, сколько я ее помню. Вместо сердца пламенный мотор. Разве так должна жить женщина?

– Экая вы... – улыбнулась Римма Александровна, но вдруг встала со стула. – Простите, молодые люди, у меня чертовски разболелась голова. Олечка, вы меня прощаете? Любовь Семеновна, дадите молодым людям горячее и чай?

– Мы сами, сами, сами! – сказал Алексей. – Мы еще немножко посидим.

– До свидания, Олечка. Передайте маме привет. Передайте, что я к ней с огромным уважением отношусь. Постарайтесь объяснить маме, что мы уже такие немолодые, что мы почти уже две старухи...

– Что вы, что вы, Римма Александровна!

– Не перебивайте! Постарайтесь объяснить, что мы вполне можем дружить. У вас вообще часто бывают гости, друзья?

– Нет, не очень.

– Тем более, тем более! Вы ей это обязательно передайте.

Она ушла, резко повернувшись, и Оля сказала «спокойной ночи» ей в спину.

– Любовь Семеновна пододвигайтесь поближе, давайте на троих... – сказал Алеша. – Давайте я вам налью? Водочки? Отлично. Ура-ура! Чин-чин. Расскажите нам что-нибудь. Из жизни! Мы ведь совсем не знаем жизни. Оля еще маленькая, а у меня никакой жизни нет. На работу, с работы – разве это жизнь?

У Любви Семеновны были желтая завивка и кокетливый зеленый взгляд. Она всегда смотрела чуточку сбоку, в три четверти. Она выпила полрюмочки и рассказала про своего папу, что он был портной, знаменитый. «Он на горбатых костюмы шил. На косоруких или у кого плечи разные. А как шил! Сидело как влитое. Папа плясать любил. Один раз так плясал, что у него сердце оторвалось. Когда вскрытие делали, оно прямо в желудке лежало, оторванное!» Оля и Алексей засмеялись. Она допила свою рюмку и ушла. Оля сказала, что Любовь Семеновна похожа на дамский портрет кисти Никола де Ларжильера из Пушкинского музея.

– Румяная, когда-то красивая, пожилая дура, – шепотом сказал он. – Но верный и добрый человек. Мама ее любит.

Оля возразила: ей показалось, что Любовь Семеновна ни капельки не дура, а просто играет роль. Нарочно смешит хозяев дурацкими рассказами.

– Каких еще хозяев? – Алексей поморщился. – Не выдумывай!

Но Оля махнула рукой и спросила:

– Твоя мама недовольна, что я пришла?

– Что ты. Она в самом деле устала. Такой день, видишь, пригласила тучу народа, никто не пришел, вся на нервах. А если даже недовольна, то это ее дело. Я лично своими недовольствами никого не загружаю и меня прошу не загружать. У меня есть цель жизни, не вообще, а конкретно. А вокруг головы – плотный забор. Знаешь, как это вышло? Твоя мама виновата, любимая моя Генриетта Михайловна. Я у нее диссертацию писал, ты же помнишь. Придумал одну новую решеточку, посчитал. Принес ей. Потом она позвонила, позвала зайти к себе на кафедру. Прихожу. Там Ярослав Диомидович сидит, весь из себя генерал в погонах. Держит мои листочки. Сказал просто: «Ты, шпана такая, родину любишь? Вот, значит, ради родины обо всем забудь, а думай только об этом!» А на моих листочках, на каждом, уже стоит штампик, шестиугольник, совершенно секретно. И с тех пор всё. Забор вокруг головы! – повторил он.

– Красота, – сказала Оля.

– Стараемся. Ты не гляди, что я сегодня такой злой и растрепанный. Расскажи чего-нибудь. Кого выдаешь?

– Кого выдаю? Да никого, на самом деле. Вот с дворничихой познакомилась в нашем дворе. Зовут Жанна. Двадцать два года, как мне. Из старой юбки может сделать новую, за умеренную сумму. Приехала из Кемерова, завоевывать столицу. А в Москве поняла, что всего дороже личная свобода.

– Как это, как это? – спросил Алексей.

– Маленькая, простенькая свобода. Хочу – работаю, хочу – отдыхаю. Хочу – обед варю, хочу – книжку читаю. Чтоб ни с кем не быть связанной.

– Завидую, – сказал Алексей. – Хочу быть как дворничиха Жанна. Я серьезно. Если бы мне не надо было все время оглядываться, каждую минуту помнить, что я Алексей Сергеевич Перегудов, я бы в сто раз больше сделал! Стоит вот на тютельку продвинуться – «удачливый наследник». Стоит проколоться – «неудачный последыш». Не с кем поговорить по-человечески, понимаешь, не с кем слова молвить. Сотрудники? Они Ланского помнят и любят. Что с ними делать прикажешь? В гости звать? Или самому напрашиваться? В друзья набиваться?

– Почему он не говорит о своей жене? – Игнат даже хлопнул ладонью по столу. – Безобразие!

– Какой ты смешной! – ответила Юля. – Это ведь я по всем правилам должна возмутиться! Как женщи-

на! А я молчу. Значит, все правильно. Давай дальше.

Оля встала, подошла к нему сзади, осторожно положила ему руки на плечи.

– Твоя мама... ну и еще Ярослав Диомидыч, ах... господи твоя воля... это учителя мои любимые. А мне друзей надо, друзей... – Он хихикнул. – И никто-то меня, бедного, не любит! Нет, вру. Бывает. В меня, Ольга, иногда влюбляются женщины. Но любовь у них такая интеллектуальная, – повертел пальцами в воздухе, – ну просто ужасно интеллектуальная. А во мне самом интеллекта хватает. Я жизни хочу. Любви и счастья, синих глаз и золотых кудрей, румяных щек и звонкого смеха.

– Просто как в финале рассказа Томаса Манна «Тони Крёгер», – сказал Игнат и процитировал: *«Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана белокуром и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным».*

– Оля не обыкновенная, – сказала Юля. – Она как раз *«одновременно трагическая и смешная»*, если уж ты такой эрудит. Но Алексей этого не понимает. Для него она просто молодая.

Оля погладила его по голове:

– Ты и в самом деле лысый. То есть лысеешь немножко.

– Ну и что?

– Так. Лысые мысли лысого мальчика. Не кисни, Алешенька, и знай, что я тебя люблю. Я тебя люблю всегда, злого или доброго, успешного или неудачного, любого. Понял?

– Как душно в комнате, – сказал Алексей и медленно встал со стула. – И этот запах! Это черемшой воняет. Ненавижу эти разносолы. Я окно открою, ладно?

– Ладно.

Он открыл окно, повернулся и посмотрел на Олю:

– Что?

– Ничего, – сказала она.

– Тебе холодно?

– Немножко.

Алексей взял отцовский китель и накинул ей на плечи.

Она спросила:

– Твоя мама не рассердится?

– Она спит, – он поправил на ней китель. – Можно я тебя поцелую?

– Давай. – Она протянула ему руку, он поцеловал ей руку, потом притянул ее к себе, она отстранилась, но руку не отнимала.

Он посмотрел на ее пальцы, они были совсем другие, чем у Лизы и у Сотниковой. У Лизы они были изящные и чуть суховатые, с идеальными миндалевидными ногтями. У Сотниковой – длинные, но с ногтями-корытцами, загнутыми по бокам. А у Оли были широкие ладони и сильные пальцы с

ногтями крепкими, почти квадратными, и это было по-особому соблазнительно.

– Ты мне правду сказала?

– Конечно правду. Ой, слушай, как у тебя глаза изменились, и всё лицо, как у маленького... Ты еще мальчик.

– Как вам будет угодно.

– Мальчик, мальчик! – сказала Оля и улыбнулась. – Раз у тебя есть цель жизни. Она бывает только у маленьких мальчиков. До четырнадцати лет. Наверное, у тебя еще есть идеал человека. Я думаю, что идеал – это твой папа, правда? И даже, наверное, у тебя есть свой девиз. У мальчишек бывают такие романтические девизы, – казалось, она нарочно поддразнивает Алексея. – Скажи мне. Признайся.

– Девиз? Не знаю. Хотя вот, пожалуйста. «И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». – Он не отпуская ее руку. – Это у моего папы был такой девиз.

Оля засмеялась.

Алексей внезапно обиделся, отнял руку, уселся за стол.

– Смейся, смейся! Громче давай! – сказал он. – Я работаю на оборону страны и горжусь этим. Я патриот Советского Союза и член партии. Смейся дальше.

– Ага, – вдруг сказала Оля. – Корейским «боингом» тоже гордишься?

– Прекрати!

– Почему? Там тоже ведь твои антеннчики сработали? Или не твои? Покойного академика Ланского?

– И твоей мамы тоже! – обозлился он. – В первую очередь! Она у нас главный идеолог всех этих устройств! Маму любишь? Вот и не отмазывайся. И вообще, полковник Кольт не отвечает за всех застреленных ковбоев. А академик Сахаров, – он понизил голос, произнося запрещенное имя, – Сахаров Андрей Дмитриевич...

10.

Он нарочно прибавил про сосланного в Горький академика Сахарова, чтобы слегка umasлить Олю, чтобы она не считала его тупым военно-промышленным долдоном, газетным патриотом.

А по имени-отчеству Алексей назвал его, чтобы этак ненароком и себя включить в этот круг. В наивысший круг секретных оборонщиков, в узкую компанию людей, которые делают главные бомбы, главные ракеты, главные самолеты, антенны и радиолокационные станции, атомные подлодки, ракетные и авианесущие корабли, а также то, что не только вслух, но и в уме он остерегался произносить... вы понимаете, друзья?

– Нет, не понимаю, – сказал Игнат.

– Ну и слава богу, – сказала Юля.

– Нет, извини, я так не согласен.

– Не согласен – не надо. Давай вычеркнем.

– Нет, я должен знать, что он даже в уме боялся про-
износить.

– Ничего ты не должен. Зачем тебе военная и госу-
дарственная тайна?

Юля посмотрела на него совсем серьезно.

– Ладно, – сказал он. – Хотя жалко.

– Чего тебе жалко?

– Интересно же знать, что они там еще делали, кро-
ме бомб и ракет!

– Глупости. Вот я тебе скажу, допустим. Потом ты
проболтаешься...

– Я? Никогда. Клянусь!

– Обязательно проболтаешься, – сказала Юля. –
Все пробалтываются. Министры и генералы пробал-
тываются. Бабам, девкам, что характерно! Почему?
Думаешь, бабы их шантажируют? *Скажи, милый, где
база атомных подлодок, я тебе улетный минет сделаю!
А не скажешь – вообще даже труссы понюхать не дам!*
Что ты, что ты, ничего подобного. Министры и гене-
ралы сами все выкладывают. Почему? Потому что хо-
тят, чтобы баба ахнула и глаза выпучила: «Уй ты! Во-
дает! Ну супер! Не может быть!» Нарциссизм своего
рода. Быть в центре внимания. Поразить. Изумить.
Огорошить. Тут, наверное, какая-то своя эротика, –
сказала она и замолчала.

Вздыхнула, забросила руки за голову, потянулась и

громко зевнула, потягиваясь, совсем по-мужски, – отметил Игнат. Но сказал:

– Ну допустим, проболтаюсь. И что?

– У тебя будут неприятности.

– Брось. Мы же пишем про восьмидесятые годы.

Про брежневские времена. Это же тридцать лет назад было.

– По гостайне нет срока давности. Особенно по такой.

– А я на тебя укажу! – засмеялся Игнат.

– А я отопрусь, и мне поверят, вот! Потому что я красивая! – ответно засмеялась Юля, но продолжала уже серьезно: – У Бориса Аркадьевича деньги и связи. Он увезет меня далеко-далеко. А у тебя будут ну очень большие неприятности. Самые неприятные неприятности, Игнаша, запомни, бывают из-за длинного языка... Давай лучше дальше.

– Давай.

– В своих мыслях, – медленно диктовала Юля, – в своих мыслях, а вернее, в своих мечтах Алексей уже давно включил себя в этот круг. Точнее говоря, снова включил, потому что еще лет семь или восемь назад он ненавидел – или делал вид, что ненавидел? – всю эту новую советскую аристократию. Наверное, потому, что он тогда еще не был большим начальником со служебной машиной, он был всего лишь сы-

ном министра, причем министра хоть и «союзного», но второразрядного и довольно скоро отставного, а потом и вовсе покойного, поэтому его уровень в компании был низковат, и однажды это кончилось личной, как говорится, драмой: ему указали, что его девушка – «не того уровня».

Но потом все изменилось. Те, кто третировал его за девушку «не из нашего инкубатора», сами выпали из всех корзинок, а он вроде бы начал входить в круг. И впереди, как снежные вершины, снова засияли избранные. Самые главные. Самые ценные для государства. Они живут в огромных квартирах, а то и в особняках. В Москве в особняках, вы понимаете? Они ездят в длинных черных машинах с желтыми подфарниками и белыми занавесочками на стеклах задних дверей. Они повсюду ходят с охраной, *ногой открывают любую дверь в Совмине и на Старой площади* и совершенно не думают о мелочах быта. Небожители. Академик Сахаров тоже небожитель, хоть сейчас и низвергнут. Небожитель – это навсегда. Падший, но все равно ангел.

Алексей видел Сахарова в шестьдесят пятом году. В Крыму, в каком-то совминовском санатории. Ему почти четырнадцать лет было, он был с отцом, отец еще был министром в полной силе. Тогда все кругом обсуждали недавнее снятие Хрущева. На парковой аллейке отец очень вежливо поздоровался с каким-то мужчиной: «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич!» И, кажется, даже сам представился: «Я – Перегудов. Сергей Васильевич Перегудов, Минспецприбор». – «Да,

да, – протянул руку тот, – мы ведь, кажется, знакомы». Они о чем-то коротко поговорили. Мелькнуло имя Брежнева, нового Первого секретаря ЦК. «Внимательный, вдумчивый руководитель, – услышал Алеша чуть картавящую речь. – В наших делах прекрасно разбирается, да вы, наверное, и сами знаете...» – «Да, мы с ним встречались пару раз, в пятьдесят восьмом». – «А мы – довольно часто. С ним легко находить общий язык, это в нем хорошо. Понимает проблемы. А Никита Сергеевич был грубоват, даже, сказал бы я, хамоват, да вы, наверное, и сами знаете...» Мужчина был в легком шелковом костюме, то есть почти что в пижаме – были тогда такие, что ли, прогулочные пижамы. Рослый, светловолосый, приятный. Как говорится, *простое доброе открытое русское лицо*. В пяти шагах за ним – очень широкоплечий молодой человек, который внимательно смотрел туда-сюда, вправо-влево. «Алексей, отпрыск, наследник», – сказал отец, потрепав Алешу по плечу. «Это хорошо», – рассеянно сказал мужчина, улыбнулся и протянул ему руку. Алеше показалось, что электрический ток шел от его пальцев.

Или это ему позднее показалось – в воспоминаниях, нагруженных взрослым знанием.

– Кто это? – спросил Алеша у отца, когда они вышли на пляж.

– Физик-теоретик и вместе с тем инженер-изобретатель, академик, – негромко сказал отец, нагнулся и прошептал: – Трижды Герой!

– А что он изобрел?

– Потом, – сказал отец. – Потом.

Алеша не забыл – и в поезде, когда ехали домой в Москву, спросил отца:

– А что этот изобретатель изобрел?

– Какой еще изобретатель?

– Ну этот, Андрей Дмитриевич, у него еще охранник такой шкаф.

Они ехали в старом СВ Калининградского вагонзавода, где полки одна над другой и еще есть кресло и дверца в умывальник – один на два купе. Алеша, конечно, наверху. Вот он с верхней полки и спросил.

Отец встал с кресла, где он читал газету «Известия», подошел к нему, приблизил лицо и тихо проговорил:

– Водородную бомбу. Не болтай, что его видел. Имя-отчество забудь.

Кстати, а почему мама с ними не поехала в Крым?

Ладно, он постарается вспомнить. Если получится.

А пока – к делу. Академик Сахаров и странный разговор с Олей Карасевич. Олечка, чудесная ты девочка, я видел живого Сахарова, страшное дело! Не диссидента-демократа Сахарова, которого ополоумевшие патриоты дразнят сионистом Цукерманом, а русского громовержца, любимца родины, которого она, то есть родина, обвешивала золотыми звездами и пылинки с него сдувала.

– Так вот, – сказал Алексей. – Полковник Кольт не отвечает за всех застреленных ковбоев. А академик Сахаров Андрей Дмитриевич не отвечает за тех, кто погиб или заболел при испытаниях его супербомбы. А ведь это были тысячи людей! А может, даже десятки тысяч! Все, хватит, хорош, закрыли тему, – сказал он, стараясь быть мудрым и значительным. Кажется, у него получилось.

А что он на самом деле думал про корейский «боинг» и академика Сахарова, он и сам не знал.

11.

В следующий свой визит Юля Бубнова сказала Игнату Щеглову, что толку от него невозможно добиться.

– Хотя жаль, – сказала она, – ты почти такой же талантливый, как я. Но я не ожидала, что из наших занятий выйдет такая ерунда и бестолочь. Ты меня извини. Хотя этот кусок мы с тобой хорошо написали. Вернее, это я написала. Я продиктовала, а ты записал.

– Позволь, – сказал Игнат. – То есть, конечно, ты очень талантливая, – и усмехнулся: – Особенно приятно, что ты это про себя прекрасно понимаешь. Молодые писатели, они обычно бывают скромнее. Они обычно говорят: «Ах, мастер! Спасибо, мастер».

– Ни фиги себе мастер, – сказала Юля. – Сколько тебе лет, мастер?

– Ах, ах! – сказал Игнат. – Гордишься, что ты меня старше на три года? Или на четыре? Детский сад какой-то.

Но Юля не обратила внимания на эти слова и продолжала наступать:

– Вообще же ты как бы вместо Виктора Яковлевича, так?

– Предположим.

– Не предположим, а точно. Ты ведь ему таскаешь, что мы с тобой написали. То есть что я написала, да? Так? С ним обсуждаешь?

Игнат уже давно не обсуждал Юлины тексты с Виктором Яковлевичем, потому что тот был занят своей желтой тетрадкой, куда почти ежечасно заносил свидетельства своего наступающего маразма:

«30 ноября 2016 года

13.00

Поставил стакан с водой на книжную полку вместо столика рядом с диваном и потом минут пять вертелся по комнате, соображая, где стакан, который я принес из кухни в кабинет, чтоб принять капсулу мемантина, которую я принес из кухни, где у нас аптечка, и выложил на столик у дивана. Зачем я это сделал? Почему я не мог пойти на кухню и нормально принять капсулу? Думал об этом еще пять

минут, так и не сообразил почему.

13.40

Вспоминал название фильма братьев Коэнов про сценариста-неудачника, Голливуд, перед войной. И, соответственно, фамилию главного героя, она и есть название фильма. Отчасти еврейская фамилия. Лежал на диване, на боку, спиной к комнате, упершись лбом в кожаную спинку. Всего меня трясло той странной трясушкой, которой я был одержим еще в молодости, когда вдруг просыпался и вспоминал, что забыл что-то – важное или неважное – неважно! Обычно – чье-то имя-фамилию. Засыпал, обмерев от бессилия и боли в висках, потому что гугла тогда не было. Майор Виноградов Алексей Сергееч, начальник отделения милиции на Пушкинской улице – кажется, пятое отделение было? – мы пили с ним в компании моих приятелей с четвертого курса, они были уже почти журналисты, стажеры-практиканты, они делали с ним интервью, а я увязался с ними – так вот, майор Виноградов говорил, что часто испытывает нечто похожее на подкожный зуд или даже, точнее, какое-то зудение под черепной коробкой, когда не может чего-то вспомнить – и объяснял это так: «В мозгу биоток бегают кругами, никак не может зацепиться за нужное место!» Я смеялся. Потом какой-то невролог, нейроагентист, по-нынешнему говоря, сказал мне, что и в самом деле все происходит примерно так. Смешно. Да! Я увлекся и отвлек-

ся. Опять отвлекся! Название фильма братьев Коэнов про сценариста. Я лежал и клялся, что забуду, что забыл эту ерунду. Закрывал глаза. Вспоминал черт-те про что, чтобы это забыть. Через 10 мин. не смог терпеть, встал и полез в гугл. Бартон Финк! Бартон Финк! Бартон Финк! Стало легко-легко, кажется, даже испарина пробила слегка. Сразу заснул».

Эти записи Виктор Яковлевич вслух читал Игнату, а про успехи госпожи Бубновой в сочинении бестселлера и слышать не хотел.

Однако Игнат сказал:

– Так, так. Именно так. Конечно, обсуждаю.

– То-то же. И что он говорит?

– Конкретных замечаний пока нет. И вряд ли будут. Он же не твой редактор! Ну, разве ты что-то уж совсем безобразное залепишь, тогда он скажет: «это безобразие». Но пока он говорит: «она очень, очень талантлива».

– То-то же! – повторила Юля. – Понял?

– Понял, – возможно более мягко и улыбочиво ответил Игнат. – Я это давно понял, с первых твоих набросков... Но... Но зачем тебе я в таком случае? Пиши, ты талантлива, а потом посылай в журнал, в издательство, не знаю.

– Ты мне затем, чтобы...

– Чтобы что?

– Господи, какой идиот. Я все жду, когда ты меня начнешь раздевать, наконец! А ты все тянешь kota за хвост. В долгий ящик!

И она засмеялась этой своей довольно-таки банальной шутке.

– Ну, давай помурлыкаем, – сказал Игнат, встал из-за стола, подошел к дивану и схватил ее за шиворот, то есть за шею, за затылок, пытаюсь скрыть свое смущение с помощью некоторой брутальности. – Что ж ты не мурлычешь, кошка в долгом ящике? – и приблизил к ней лицо, собираясь поцеловать в губы.

– Не сегодня, – сказала Юля и дунула ему в глаза, потом отстранилась.

– Вот как? – искусственно захохотал он. – Отчего же?

– У меня менструация, – отчетливо сказала она. – Сам виноват. Провольнил три недели. А в первый день я была такая свеженькая и безопасная. Теперь жди.

Игнат отпустил ее, сел в кресло.

– Займемся, – сказала она, расстегнула сумочку, вытащила пачку листов. – Продолжаем с того места, где остановились.

Он сел к компьютеру.

Она стала диктовать:

– Не злись, – сказала Оля, снова становясь за его спиной и положив руки ему на плечи. – Не злись, прости. Понимаешь, ты для меня... Мы ведь с мамой одни жили, и ты – твоих приходов я ждала, как праздника. Я судьбу благодарила, что ты приходишь по вечерам, когда я не в школе. Ты ведь часто приходил к маме, раз в месяц, а то и чаще, диссертация, то да сё. Я так тебя ждала, всегда голову мыла, одевалась покрасивее. Ты для меня был тот самый мужчина в доме. Мужчина в доме, без которого нельзя. Вот сейчас – позови меня с собой, на свои испытания или вообще куда хочешь, обед тебе готовить и белье стирать, я поеду.

– Ну уж ладно.

– Не веришь. Я же люблю тебя, родной мой, и восхищаюсь тобой, и люблюсь, – склонилась к нему. – Ну что ты загрустил?

Алексей встал, подошел к окну, Оля смотрела на него, запахнув на себе генеральский китель.

– погоди! – сказал он. – погоди. Оля, выходи за меня замуж.

– Ты десять лет женат, – засмеялась она. – Забыл?

– Перестань! – Он подбежал к ней, схватил за руки. – Ты ничего не знаешь про мою жизнь! Наверное, я слабый человек, я не мог вот просто так взять и уйти, в никуда, в пустоту. Но теперь у меня есть ты!

– Фу, как патетично, как торжественно и чудно! – сказала Юля. – Даже самой стыдно.

– Стирать? – спросил Игнат.

– Нет, пусть остается. Это в характере. Особенно – в характере времени. Тогда так думали и даже говорили вслух.

– Что там у него с Лизой?

– Лиза красивая и волевая. У Лизы всегда насморк.

Подробности позже.

– Но теперь у меня есть ты, – шептал Алексей, – я любовался тобой все эти годы, но я и подумать не мог, что ты на меня вообще хоть какое-то внимание... Какая ты красивая, молодая, сильная. Давай, вставай, одевайся. Рванем на аэродром – и в Минск. Там недалеко у нас полигон. Там в гостинице у меня свой номер люкс, всегда меня ждет! С роялем и фикусом, ужасно смешно, как тридцать лет назад, как еще при отце было... Оля! Ты что молчишь?

– Ну все! – Она вырвалась из его объятий.

– Я серьезно говорю! Поцелуй меня, – обнял ее.

– Перестань! С ума сошел? Шутник. Дурак. Я же твоя сестра.

– С ума сошла?

– А разве ты не знал?

– Врешь! – Алексей так растерялся, что сказал первую попавшуюся глупость: – Мой папа, он любил только маму! Он

любил только маму, я это точно знаю!

– Тьфу! – вдруг закричала Оля. – А Тонькину маму, свою первую жену, он не любил? Просто так трахал, для смеха? Он с ней сколько лет прожил? Пока к твоей не ушел? Прости. Я не знаю, кого он любил на самом деле. Только моя мама любила его очень и сейчас его любит и помнит. И я его помню, хотя видела несколько раз. Раз десять, не больше.

– Кого?

– Отца. Папу. Нашего с тобой папу, – говорила она, вцепившись в лацканы генеральского кителя, накинутого на плечи. – Почему она мне тогда не сказала? Она мне только потом сказала, что это отец, потом, когда он умер. – Оля заплакала. – Почему она такая жестокая?

– Сестра... – сказал он. – Младшая сестра, ишь ты. Такая красивая, умная. А я и не знал. Я честно не знал, ты мне веришь? – Она кивнула. – Ну, что я теперь должен делать, скажи!

– Ничего. – Оля вытерла слезы. – Ты только никому не говори, пожалуйста. Жалко, что ты раньше не знал, ты бы не отмахивался от меня все время. Ты, наверное, думал, что я в тебя влюбилась и кокетничаю? Глазки строю? Я в тебя, кстати говоря, на самом деле влюбилась. Еще в тринадцать лет. Но вот тут мне мама все и объяснила... Про то, кто мой папа.

– А я даже не замечал. Нет, правда. Я ничего не замечал.

– Вот и хорошо. Тебе так и надо жить. Ты должен думать

только о своей работе. Все остальное – быт, суета и пустяки... А хочешь, я вообще не выйду замуж? Вот ты наконец разведешься с Лизой, а я буду жить при тебе. Сестра при брате. Я же тебя люблю. Сильнее, чем некоторые!

– Чего это вы все к моей жене привязались? – усмехнулся Алексей. – Чем она тебе-то не угодила?

– Понятно чем! Я тебя люблю, а ты женат, – засмеялась Оля.

12.

Скрипнула дверь, и вошла Римма Александровна в ночном халате.

– Дайте попить чего-нибудь... – сказала она. Попила газированной воды. Потом допила вино из своего бокала. Съела кусок сыра. Снова запила водой, и все это – не садясь за стол. – Простите, детки, я слышала ваш разговор. Не нарочно. Так получилось. Олечка, вы его любите?

– Вы же слышали, Римма Александровна.

– Вот и замечательно. А еще я слышала, как он вам в любви признавался. Звал ехать в Минск, в номер люкс, где фидкус и рояль. А вы сказали... Я слышала, что вы сказали. Вы ошибаетесь, дитя мое. Вы ему никакая не сестра. Ни капельки!

Римма Александровна выдержала красивую театральную паузу, отчасти наслаждаясь тем, как Оля заливается густым и

злым румянцем. Дождавшись, чтобы Оля повернулась и шагнула к двери, Римма Александровна вдруг очень эффектно схватила ее за руку, сильно развернула к себе и сказала:

– Куда же вы, дитя мое? Вы не дослушали. Вы меня не поняли. Вы – дочь Сергея Васильевича Перегудова, я в этом ни чуточки не сомневаюсь, мне ваш папа, то есть мой покойный муж, сам признался. Я даже тайком ходила смотреть на вас на маленькую, как вы в детском садике играете. Детский сад завода «Прометей». Ах! Кажется, я выболтала военную тайну! – захохотала она. – Зная, что в детский сад завода «Прометей» ходит дочь Генриетты Михайловны Карасевич, легко догадаться, какие зонтики на этом заводе делают... Так что тс-с-с! Ни слова! Да, Олечка, я ходила на вас смотреть. Вы мне нравились. Тем более что я хотела девочку. Я просила у мужа девочку. Еще одного ребенка я хотела, чтобы была девочка, и я просила его: «Давай еще одного маленького, это будет девочка, я точно знаю!» Верите ли, Олечка, я плакала, я сейчас плачу, как вспоминаю, – Римма Александровна схватила Олю за руку и прижала ее пальцы к своим глазам; потом отбросила ее руку. – Но он мне отказал. Он подарил эту девочку вашей маме. Бывает. Но я его простила, да и как было не прощать, глупо не прощать, когда Алешке двенадцать лет или сколько там у вас разница... Это было бы совсем безответственно перед собственным сыном, не прощать изменившего мужа. Не просто мужа, а министра специального приборостроения, гене-

рал-лейтенант-инженера Перегудова. Сыну надо оканчивать школу, поступать в институт, делать карьеру, вообще строить жизнь. Хороша была бы я, гордая жена без работы и профессии, с сыном-подростком на руках! Пришлось простить, забыть и приголубить. Так что, Олечка, не сомневайтесь. Вы самая настоящая дочь Сергея Васильевича. Но, Олечка, вы не сестра моему сыну.

– Почему? – растерялась Оля.

Римма Александровна негромко и отчетливо сказала:

– Потому что я, сучка этакая, родила его от Славы Смоляка. От Ярослава Диомидовича. Который сегодня не пришел, хотя утром заезжал и обещал...

– А? – сказала Оля.

– Он сегодня умер, – сказал Алексей. – Потому и не приехал.

– Откуда знаешь? – зло спросила Римма Александровна, как бы и не удивившись.

– Я днем звонил ему в Управление, – механически сказал Алексей. – Звонил по своим делам, референт сказал: «сейчас позову», и потом крикнул: «он умер». Я слышал в трубку, как они все там кричали и бегали. Я тебе сразу не сказал, чтоб не расстраивать в такой день. В смысле, чтоб вдобавок не расстраивать.

– Вот как? – сказала Римма Александровна совершенно спокойно, однако слегка побледнев, отпустив Олину руку и опустившись на стул перед нетронутым столовым прибором.

ром. – Печально. И даже странно, ровно в тот же день через десять лет. У тебя, наверное, голова кругом, сынок. Я тебя понимаю. Но это хорошо. Нет, нет, не то. Славочка умер – это страшно жаль, это мне еще нужно осознать, понять, принять. Хотя я знала... Ну, скажем так, я предполагала...

– Что?! – закричал Алексей. – Что ты знала?! Говори!

– Он ужасно выглядел утром, когда заезжал. Там что-то было. Зачем он заехал утром? Чего ради? Мог приехать вечером. У него внутри что-то было. Как будто у него уже случился инфаркт. Это было видно... Я могла тебе не говорить, что он твой отец. Лишнее, да? Но я сказала из-за Олечки и из-за тебя. Я желаю вам счастья, детки. Разводись, наконец же, со своей мокроносой Лизеттой и женись на Олечке. Она чудесная. Вы чудесная, Олечка. Я буду хорошей свекровью, вот увидите. Маме привет.

Сказавши это, Римма Александровна поднялась со стула. Распахнулся халат. Из-под короткой ночной рубашки завиднелись ее сухие ноги с синими жилами. Она повернулась и пошла к двери, потом еще раз повернулась и повторила:

– Маме привет! – и прикрыла за собой дверь.

Тяжелую белую двустворчатую дверь с пупырчатым стеклом в мелких переплетах.

– Почему вы все так ненавидите мою жену? – спросил Алексей, как будто нарочно желая говорить про другое.

– Потому что ты сам долдонишь, как тебе с ней плохо!

– Ну и что? Мало ли что я долдоню? Моя жена, что хочу, то и говорю, а ты не повторяй. Однако мы запозднились, сестрица милая моя. Знаешь, я еще долго буду привыкать, что дочь Генриетты Михайловны – моя сестра.

– Леша. Я же...

– Ах, в том ли дело, – сказал Алексей. – Допустим, мама правду сказала.

– А почему она должна была сказать неправду? – возмутилась Оля. – Ты что, думаешь, что она нарочно хочет устроить тебе кровосмешение? Зачем?

– Нет, нет, что ты... В самом деле, зачем?.. Итак, я на самом деле сын Ярослава Диомидовича. Прости, что я так спокойно об этом говорю. Потом, наверное, буду плакать, рыдать, тосковать, водку пить, биться головой об шкаф, но – потом. В меня вообще все очень медленно входит. Итак, ты – дочь конструктора и министра Перегудова, а я – сын генерал-полковник-инженера Смоляка, начальника Управления. Но, сестричка моя дорогая, не тот отец, кто родил, а тот, кто вырастил. Ведь так? Так что моим любимым и единственным папой был и остается мой любимый и единственный папа, конструктор и министр Перегудов... Вот такая петрушка. Понимаешь, если бы мама сколько-то лет назад, ну, например, десять лет или лучше девять лет назад... После папиной смерти, но не прямо сразу, если бы мама тайком сказала мне, что я на самом деле сын Ярослава Диомидовича, я бы как-то к этому постепенно привык. То есть я перестал бы считать

своего папу своим отцом. Поняла? Если красиво выразиться, мой папа Перегудов сошел бы с пьедестала отца в моей голове. А так – у меня другого отца никогда не было. И вдруг я узнаю, что ты – тоже дочь моего отца, дочь человека, которого я всю жизнь считал и сейчас считаю отцом. Надоело объяснять на пальцах. Ты поняла? Ты все поняла. Какое-то моральное кровосмешение, ты уж извини. Хуже, чем настоящее, если люди об этом не знают.

– А если бы я тебе не сказала?

– Тогда другое дело.

– Но я же тогда правда думала, что я твоя сестра...

– Ну что ж теперь поделать? Да. Запозднились мы с тобой, сестрица милая моя, или не сестрица, или квазисестрица. А-а-а! Я с вами тут с ума сойду. Вызови-ка такси. Сто тридцать семь два нуля сорок.

– Тебе уже пора?

– Ну не то чтобы пора, а так... а впрочем, отчего же? Давай еще выпьем. Скучно пить вино. Изжога. Прости. Сейчас на кухне соды возьму. Давай чего-нибудь поинтересней. Вот смотри, что у нас есть. – Он достал из буфета деревянный футляр. – Коньяк французский. Папе подарили в семидесятом. Редкая штука. Вот, читай: выдержка пятьдесят лет.

– Значит, уже шестьдесят четыре? Раз четырнадцать лет назад? Не жалко открывать?

– Нет, не жалко. – Алексей сбил с футляра сургучную наклейку, поддел ножом крышку, вытащил бутылку, стряхнул

с нее стружки. – Нет, не значит. Выдержка – это сколько он в бочке пробудет. А в стекле не считается, не прибавляется в смысле, поняла?

Налил себе и ей. Чокнулись, пригубили.

– Ужас какой, – сказал Алексей. – Очень жесткий. А тебе как? Тоже? То-то. Фигня все эти «сюперьёры». Лучше наш армянский, три звезды. Давай поцелуемся, Оля. Слегка. Нам же можно, ты же сама мне объяснила. Что смотришь?

– У тебя сегодня отец умер! – сказала Оля. – А ты целоваться хочешь. Даже странно.

– Два раза, – сказал Алексей.

– Целоваться два раза?

– Отец умер два раза, – усмехнулся он. – То есть два отца умерли: один ровно десять лет назад, другой только что. – Он встал, подошел к ней, взял в ладони ее лицо, но потом сказал: – Ладно, не надо.

– Ты меня не разлюбил из-за этого? – спросила она. – Понимаешь, ты часто смотрел на меня так, вроде я тебе нравлюсь как девушка. А теперь ты узнал все вот это, сначала что я сестра, потом что не сестра, и я тебе разонравилась, да?

– Перестань. А хочешь, будет как ты хочешь? Будем жить вместе. Я все брошу. Найдем квартиру. Купим кооператив. У меня деньги есть. Все брошу и буду у верстака тебе разные щипцы подавать?

– Договорились, – сказала Оля.

– А пока вызывай такси. Сто тридцать семь два нуля со-

13.

– Какая длинная сцена, – сказал Игнат. – Вот все это застолье.

– Я хотела ее сделать в реальном времени, – сказала Юля. – Как огромные диалоги у Достоевского. Или как свадьба в «Охотнике на оленей». Как диалоги Платона, сука! Ну ладно.

Итак, Алексей велел ей вызвать такси. Номер сто тридцать семь два нуля сорок.

– Откуда такой номер? – спросил Игнат.

– Я узнавала. Был еще номер два пять семь два нуля сорок, и самый старый два-два пять ноль-ноль-ноль-ноль. Раньше говорили «бэ пять четыре нуля», когда еще были буквы. А этот район, где они живут, он был вот под этим номером, сто тридцать семь.

– А как было сто тридцать семь буквами?

– А-Вэ. Интересно было насчет такси всего лет тридцать назад. Мне дядя рассказывал. Заказать по телефону – это был особый шик. Правда, чуть дороже. Но главное – дозвониться. Все время занято. На всю Москву три телефона. Таксист был вообще главный человек. Его называли «шеф». Лебезили перед ним. Садиться в такси просто так, с ходу, было

невежливо и даже бессмысленно. Такси с зеленым огоньком останавливалось, шофер спрашивал: «куда ехать». Если пассажир молодой и наглый, сам мог спросить: «Шеф, куда педали крутишь?» Но в любом случае шоферу должно было быть удобно, сподручно тебя везти. А вот так ввалиться в машину – фи! Таксист мог высадить, если ему не по дороге. «В парк идет машина» – вот и весь ответ. Весело жили. Зато дружно и справедливо. В тесноте, да не в обиде! – узенько и елеино улыбнулась она – наверное, передразнивая кого-то, свою бабушку, например.

Хотя Игнат не знал, кто у Юли бабушка и, вообще, есть ли там бабушка.

Итак, Оля Карасевич вызывает такси.

Оля долго набирала номер, наконец дозвонилась, но толку не было.

– Там все заказы разобраны, – объяснила она Алексею. – Только на утро или на три часа ночи, в крайнем случае, если что-то освободится, но без гарантии.

– Ай-ай-ай, – сказал Алексей. – И вот эта девушка хотела жить со мной вместе, ухаживать за мной, как верная сестра за братом! А моя жена, которую вы неизвестно почему терпеть не можете, моя жена вызвала бы в минуту.

– Но ведь все заказы разобраны, понимаешь?

– Понимаю, – сказал Алексей. – Видишь ли, у меня есть

служебная «Волга», но она уже в гараже. У меня еще нет персональной машины, чтоб дежурила при мне круглые сутки. Это когда я стану генеральным конструктором. Конечно, я могу вызвать разгонную машину из Управления. Но это нескромно. Чтоб быть скромным советским человеком, у меня есть секретный номер для такси. Служебный. От нашей фирмы. И еще один, от Минобороны. Но это неинтересно. По билету каждый дурак пройдет, а вот ты без билета попробуй. Пусты меня к телефону. Слушай и запоминай. – Он набрал номер. – Аллоу. – Он заговорил бархатным начальственным баритоном. – Добрый вечер, девушка. Это академик Перегудов. Час поздний, голубушка, а у меня гости засились. Да, я понимаю, миленькая, но и вы войдите в мое положение, народ всё немолодой, заслуженный... Ай-ай-ай, неужели вы хотите, чтоб иностранная журналистка, – он подмигнул Оле и сделал ей «козу», – ночью рыскала в поисках такси? Какое же у нее сложится впечатление о нашей столице?.. Ну, всецело надеюсь. Улица Петровского, один. Вы, конечно, знаете этот дом... Подъезд третий. Два-три-два-пятнадцать-восемь-семь. Перегудов. До свидания, голубушка...

– Превосходно. Ты что, уже академик?

– Да при чем тут... «Все заказы разобраны», смешно. Две-три машины в резерве всегда есть. На всякий случай. На случай внезапного академика, народного артиста или чемпиона мира. Или вот сам директор таксопарка загулял у своей зазнобы где-нибудь в Снегирях! Звонит в парк. «Танечка, при-

шли-ка мне тачку по-быстрому». А она ему скажет, что все заказы разобраны? На утро без гарантии? – Алексей засмеялся и постучал по телефонному аппарату: – У этой девушки голос добрый. Таких надо важностью брать, а можно жалостью. «Ой, девушка, ребеночек заболел!» А если голос злой, то еще проще. Рывкнуть на нее как следует. «Ваша фамилия! Старшую мне! Старшая? Ваша фамилия!» Учти, это я не сам придумал, это меня Лиза научила. И нечего над моей Лизой хихикать. Это называется социальная компетентность. Я бы даже сказал, – Алексей поднял палец, – социальный интеллект!

– Слушай. Неужели ты ее любишь только за этот самый... социальный интеллект? За то, что она тебе такси вызывает?

– А если вот без дураков, что это такое? – возразил он. – Эта твоя любовь?

– Хороший вопрос, – сказал Игнат.

– Мы еще к нему вернемся, – ответила Юля.

– При чем тут любовь? – Оля чуть не закричала. – Она тебя купила комфортом и заботой, подает тебе чай с тепленькими гренками, а за это через десять лет она будет жена академика, генерального конструктора. Гранд-дама! Ради этого стоит постараться. И если ты ей начнешь изменять направо и налево, она тебя простит. Вернее, не заметит.

– Ты полагаешь? – серьезно спросил он.

– Уверена. А ты что, ей не изменял? Ты ведь сам сказал: «в меня иногда влюбляются умные женщины». Так я и поверю, что ты ни разу не попользовался. А она ничего не замечала. И правильно! У нее тоже есть цель жизни и забор вокруг головы, как у тебя, два сапога пара. Что же. Все честно. Честный обмен. Услуга за услугу! Или ты сейчас скажешь, что любишь ее?

– Да ничего я не скажу. Поговорили, спасибо. И вообще, хватит философствовать, надо просто жить и дело делать.

– Просто жить, – сказала Оля. – Она умеет жить, ты тоже более-менее, вот вы вместе, и вам хорошо. А я? А что я?

Зазвонил телефон, Алексей снял трубку.

– Да? Да, заказывали. Вы откуда едете? Да, понятно, – повесил трубку. – А ты? – Он повернулся к Оле. – Ты, во-первых, умная.

– Подумаешь, прочитала десять лишних книг.

– Ты красивая.

– Я? Ты выйди вечером на улицу Горького.

– Что, я уговаривать тебя должен? Ты талантливая молодая художница. Вот Лиза носит твой браслет, и все интересуются. Очень хорошая работа.

– Я? Художница? Да еще талантливая? Ты пойди на любую выставку, там куча таких художниц ошиваются, копейка бублик, рупь пучок! Что я делаю? Дешевку и дрянь. Бездарные колечки и браслетики, пусть они даже кому-то нравятся, пусть они даже симпатичненькие, но это же не име-

ет никакого отношения к искусству, никакого! Как мне пусто и скверно, Алеша. Жить и каждый день помнить о своей бездарности. О своей никчемности. Жить и помнить, что на свете жили Роден, Майоль, Бранкузи, а Генри Мур и Джакомо Манцу еще живы... Мне стыдно, что я называюсь тем же словом, что и они. Скульптор, боже мой. А о чем я думаю? Ни о чем. В голове ни одной умной мысли и поговорить не с кем... К маме не подступишься, тебя я вижу вообще раз в полгода.

– Поговори с дворничихой Жанной, – сказал Алексей. – Она научит уму-разуму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.